

Роман

Сейсенбаев



МЕРТВЫЕ БРОДЯТ В ПЕСКАХ

Роман-эпос

КНИГА ТРЕТЬЯ

Избегнуть смерти не трудно, афиняне, а вот гораздо труднее – избежать нравственной порчи: она настаивает стремительнейшей смерти.

Сократ, V век до н. э.

...Страдание составляет привилегию высших натур: чем выше натура, тем больше несчастий испытывает она.

Гегель, XVIII век

...Что толку в политических учениях, которые сулят рассвет человека, если мы не знаем заранее, какого же человека они вырастят? Кого породит их торжество? Мы ведь не скот, который надо откармливать, и когда появляется один бедняк Паскаль, это несравненно важнее, чем рождение десятка благополучных ничтожеств.

Антуан де Сент-Экзюпери, XX век, 30-е годы

VIII

Когда пароход, буксирующий баржу, груженую прибрежной галькой, миновал широкое речное русло и повернул в узкий проток, Кахарман поднялся на капитанский мостик. Смуглое лицо его осунулось, а в глазах появилась теперь какая-то странная, тревожная глубина. Три года прошло с тех пор, как он покинул Синеморье. Не нашел себе за это время дела по сердцу. Человек он по своей натуре был основательный, крепкий, но всё это время не знала его душа покоя.

Безысходность заставила покинуть родные места. Но что ему удалось найти взамен любимой работе? Быть может, ему следовало остаться, чтобы продолжать борьбу? Он, Кахарман, всей душой по-прежнему болеет за рыбаков. Ведь они-то, несмотря ни на что, по-прежнему живут у моря, – в полной мере разделяя его тяжелую судьбу.



Простой человек хранит уравновешенность во всем – будь то горе или, наоборот, радость. Он не изменяет своему естеству. Что касается несчастий – быть может, эта изначально присущая человеку уравновешенность и является причиной долготерпения, стойкости, мужества, с которыми он переносит все, что выпадает на его долю? Преданность родной земле старых рыбаков была удивительной. Они не дрогнули, когда люди стали покидать Синеморье – сначала по одному, потом десятками, сотнями – и короткими, и длинными караванами. Это было смутное тревожное время. И только старые рыбаки хранили спокойствие. По-прежнему выходили в море, по-прежнему возвращались с добычей. Правда, их сильно печалил улов. Сначала исчезли жерех, усач, шип, редко стал попадаться в сети серебряный сазан, но были еще в обилии судак да щука. Со временем стали редкостью и они. Ловились сомы, однако море изобиловало теперь странной рыбой: длинной, узкой, которую старые рыбаки прозвали рыбой-змеей. Этот новый вид был выведен учеными в лабораторных условиях и выращен в Чардаринском водохранилище. Никто не мог предугадать у незваной пришельцы такого чудовищного, воистину «змеинового» аппетита: она сжирала всю морскую рыбу без разбора, не гнушалась также и икрой. Рыболовецкие колхозы перестали выполнять план. Рыбаки стали сооружать запруды у устьев рек, но и в запруды проникала хищная рыба-змея. Она выбиралась даже на рисовые плантации и обсасывала рисовые колосья. Кахарман в свое время резко выступил против разведения этой хищницы. Но ученые и чиновники из министерств, в глаза не видевшие моря, даже ухом не повели, а бюро обкома истолковало его протест в духе политической близорукости и объявило ему строгий выговор. Первый секретарь обкома – Кожа Алдияров раздраженно заявил: «Указания здесь даю я, товарищ Насыров! Не нравится, поможем вам найти себе другое место работы, товарищ Насыров!»

Москве первый подчинялся беспрекословно. «Этот вопрос не подлежит обсуждению, всё давным-давно обговорено в верхах!» – твердил он.

Славиков и Болат, прослышав про готовящееся бюро, обратились к Алдиярову через его помощника за разрешением присутствовать на совещании. Московских и алма-атинских чиновников это изрядно покорило:

– Опять пойдет болтовня, знаем... Старый чудак Славиков полон новых бредней. Как ему самому не надоели его бесконечные вавилонские проповеди?!

– Товарищи, зачем напрасно волноваться? Что, собственно, значит мнение этого вздорного старика? Ведь за нами, между прочим, стоит партия – вы что, забыли это? – Секретарь обкома повернулся к помощнику, молчаливо дожидавшемуся ответа, и вальяжно распорядился: – Скажи, что разрешаю...

Вот так Болат и Славиков и оказались на бюро. Болат первый дождался, когда ему дали слово, и энергично заговорил:

– Товарищи! Конечно, решение, принятое сообща – позвольте выразиться красивее: коллегиальное решение, – впечатляет. Но ведь в нашей практике немало примеров несчастий и катастроф, последовавших после «умных» указаний сверху. Даже слепому видно – развивая и выращивая рыбу-змею, мы делаем большую ошибку!

– Вот как? – откликнулся Алдияров, плохо скрывая неприязнь к молодому ученому. – В чем же здесь просчет?

– Да в том, что человек, прежде чем вмешаться в естественные процессы развития природы, должен даже не семь раз, а семьсот раз взвесить каждое свое решение! – Болат решил не замечать этой явной предвзятости.

– Эге, да молодой человек вздумал нас учить! – грубо прервал Болата первый секретарь.

– Товарищ секретарь! – заговорил Славиков. – Прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что мне и моему коллеге разрешено присутствовать здесь. Поскольку заседание затянулось, – продолжал Славиков, – скажу коротко. Если вы сегодня примете решение о разведении этой странной рыбы-змеи, то года через три-четыре в ваших водоемах вообще не будет никакой рыбы!

– Ну зачем же так мрачно, Матвей Пантелеевич? – усмехнулся первый. – Впрочем, понимаю: трудно уберечься от категоричности и желания быть пророком, если вообразить, что вокруг не существует ни одного другого ученого-прогнозиста. Пользуясь случаем, хочу познакомить. – Он сделал рукой приглашающий жест. – Вот – товарищи Михайлов и Павловский, московские ученые. Эту проблему они не один год изучали как у себя в Москве, так и у нас в Алма-Ате. Правильно я говорю? – Кожа Алдияров вопросительно посмотрел на ученых, и те согласно закивали.

– Ученый ученому рознь, – довольно-таки сухо заметил Славиков, бросив беглый взгляд на представленных коллег. Ему хотелось добавить: коммунист коммунисту тоже большая рознь. Но разговор бы затянулся и обострился, а он не хотел этого.

– Вы спросите у меня: почему не будет рыбы? – продолжал он. – Ответу: рыба-змея уничтожит ее всю. Вам не придется долго ждать, чтобы убедиться в справедливости моих слов. Возможно, что и я доживу до этой катастрофы, хотя не дай, как говорится, Бог..

– Я не нахожу ваш ответ аргументированным, – возразил первый секретарь.

– Вам лично когда-нибудь приходилось брать эту рыбу в руки или хотя бы видеть ее?

– Нет, не приходилось, – откровенно признался Алдияров.

– Тогда какой смысл толковать с вами по этой проблеме?

– Кажется, я не утруждал вас просьбой быть у нас на обсуждении, не так ли? – Алдияров снова раздражился. – Вы по собственной воле сюда явились...

Все одобряюще загудели.

Однако не всем в зале понравился тон первого секретаря. Одним из этих немногих был Галым Ержанов, новый председатель облисполкома, назначенный всего лишь около года назад. До этого он много лет проработал на производстве, побывал и на руководящих партийных должностях. Отличался Ержанов деловитостью, был хорошо образован, одинаково свободно владел как казахским, так и русским языками. Люди не боялись ходить к нему на прием, ибо он не отчуждался от них, а был отзывчив к чужим бедам, открыт душой. Так уж устроено в нашей жизни, много друзей у порядочного, честного человека, а врагов и того больше. Если простым людям Ержанов Галым был симпатичен, то ловкачи и дельцы обходили его стороной, многие из них питали к нему недобрые чувства. Ержанов не собирался угождать всем сразу, принцип «и нашим, и вашим» был чужд ему. Это определенно озадачивало первого, и однажды он даже сказал председателю облисполкома:

– Смотри, не один джигит свернул себе шею, желая снискать дешевой популярности. Ведь народ – он хитрый! Когда ты у власти, когда ты на коне, что называется, – они завидуют тебе; когда ты в опале – они будут злорадствовать,

никто из них не протянет тебе руку помощи. Так стоит ли заигрывать с ними или ждать от них ответного милосердия?!

Ержанов понял, куда клонит секретарь:

– Не буду возражать вам, это длинный разговор. Всему судья – время.

– Вполне с тобой согласен, время у тебя еще есть... – Алдияров вновь захикивал, подергивая маленькой сухой головкой. Этот смешок первого – мелкий, плотоядный – глубоко запал ему в душу. Он чудился ему, когда Ержанов закрывал за собой массивные секретарские двери, чудился несколько раз и по дороге домой. «Будь разумным, Галым, не суй голову в пасть старому льву» – так звучал грозный намек секретаря.

Но страха не было. Ержанов не привык жить и работать с оглядкой, с расчетом. Стоило ли придавать значение – по большому счету – этим словам секретаря? На дворе новый день, новое время, и Ержанов чувствовал себя его предвестником. Конечно, живая мышь сильнее мертвого льва, и ящерица, которой отрубили хвост, еще сохраняет способность двигаться.

Однако Ержанов всерьез задумался об этом гораздо позже, ибо был он человеком смелым, мало искушенным в интригах, в то время как опытный партийный чинуша после прощания с Ержановым уже знал, где, в каком месте он заставит споткнуться горячего председателя.

Ержанов и Славиков симпатизировали друг другу. Они не раз встречались, часто обменивались мнениями. За время этих встреч Ержанов понял, как глубока ученая мысль Славикова, как привлекательно, необычно его мироощущение, как чистосердечна любовь этого старого человека к морю, которое было сейчас в беде.

– Друг мой, – говорил профессор, когда они вместе колесили по колхозам и совхозам области, – вам нет нужды ходить далеко, чтобы всё выведать обо мне. Спросите хотя бы рыбака Насыра, охотника Мусу или старого жырау Акбалака – они всё вам обо мне расскажут. Или вот... – профессор кивнул на сопровождавшего их Кахармана. – Впрочем, Кахарман не в счет. Мы с ним, как сейчас говорят, играем в одной команде. Бьем челом кому попало – умоляем защитить Синеморье.

– Да, команда у вас солидная, – улыбнулся Ержанов.

– А вот и ошибаетесь, дорогой друг. – Славиков заметно помрачнел. – Если бы мы были реально сильны, разве унижались бы до челобитной? – Он помолчал, потом добавил: – Впрочем, еще никогда и нигде добрые дела просто не давались. – Тут он несколько оживился, вновь взял полушутливый тон: – Э, вот кого можете расспросить обо мне – вашего заместителя Жарасбая!

– Я не могу рассказывать о вас, Матвей Пантелеевич, прозой – хотите поэму? – Жарасбай засмеялся, озорно глянув на профессора.

– Ну, тебе ли соперничать с Акбалаком-жырау? – отмахнулся Славиков.

Ержанов внимательно глянул на своего заместителя – его вовсе не удивило, что Жарасбай был на короткой ноге со знаменитым ученым. И вообще, с первых дней совместной работы Ержанов почувствовал невольное расположение к своему заместителю и теперь был рад, что не ошибся в нем.

Благодарен он был также и Кахарману, рекомендовавшему ему Жарасбая.

– Значит, вы давно знакомы? – спросил он.

– Матвей Пантелеевич уже говорил, что мы состоим в одной команде, все мы, – подчеркнул Жарасбай, снова улыбнувшись.

Славиков повернулся к Ержанову:

– Мы и вправду старые знакомые. Угадajte, Галым, какой национальности наш Жарасбай?

Ержанов удивился:

– Как это какой? Разве он не казах?

Славиков рассмеялся.

– Представьте себе, нет! Когда это у казаха были голубые глаза и светлые волосы? Он – русский. В голодные годы его спас от смерти Насыр. А вырастил и воспитал Муса. – Он шутливо погрозил пальцем в сторону Жарасбая. – Я всё знаю, что творится в здешних местах...

Председатель остался очень доволен разговором. Славиков же, в свою очередь, подумал о Ержанове: «Молод, доверчив и открыт. Не поломали бы его раньше времени, не отчаялся бы...»

...Вот почему Ержанова передернуло сейчас от бесцеремонности первого секретаря обкома по отношению к старому человеку. Алдияров же умел держать в поле зрения всю гамму настроений членов бюро, это стало его привычкой – можно сказать, искусством, которое пришло к нему за долгие годы функционирования в партаппарате. Порою бывало даже так, что он слушал выступающего якобы невнимательно, опустив голову, но всеми фибрами своей расчетливой души чувствовал опасность. Недовольство Ержанова не могло остаться незамеченным. Секретарь улучил момент и громко спросил:

– Товарищ Ержанов, вы, кажется, не одобряете наше решение?

Все повернулись к председателю облисполкома – всем было ясно, что первый задал этот вопрос неспроста.

Ержанов возбужденно задвигал широкими плечами:

– Вы, Кожа Алдиярович, не имеете никакого права говорить в таком тоне с крупным ученым. Я имею в виду Славикова. Мне трудно понять вас. Как будто бы перед нами турист, а не человек, который долгие тридцать лет трудится на безлюдных островах Синеморья! – Кровь прилила к лицу председателя. – Мы должны быть благодарны за то, что он вместе с нами болеет за судьбу нашего края, вместо этого оскорбляем его!

Первый усмехнулся.

– Немало труда стоило нам взять за правило говорить на заседаниях коротко, лишь о сути вещей, – заметил он. – С приходом Ержанова к нам как будто бы возвращается старый стиль. Давайте-ка лучше выступать по делу, товарищ Ержанов. До чужих ли амбиций нам сейчас? Дело! Прежде всего дело!

Видя, что между руководителями области назревает конфликт, Славиков встал:

– Товарищи! Ни вы, ни я не располагаем временем для беспредметных споров. Давайте конструктивно – это было бы просто здорово, если бы мы здесь пришли к одному мнению, если бы всю нашу энергию мы направили в одно русло!

– Всё это так, товарищ Славиков. Но в данном случае судьбу Синеморья решает Москва, не так ли? – Секретарь зорко глядел в лицо Славикова, подсознательно фиксируя в то же время настроение зала. На многих лицах появились лукавые усмешки, и Славиков понял, куда его оппонент клонит разговор.

– Москва! Неужели вы полагаете, что Москва не ошибается? И у Москвы бывают ошибки. Я бы сказал – она уже слишком много их сделала. И одна из этих ошибок – наше Синеморье. Эту ошибку надо воспринимать как катастрофу – и

не только в масштабах Казахстана, но в масштабах всего Союза! – Славиков стал оглядывать зал, в котором нарастал гул недовольства.

– Вы пытаетесь очернить социализм, – жестко отрубил Алдияров. – Много мы видели очернителей на своем веку, но, как видите, выстояли.

И хоть пафос этот был явно неуместен, а точнее – попросту глуп, тут же раздалась дружные, продолжительные аплодисменты. Славиков вежливо поклонился сидящим и быстро вышел из зала. Усталость и огорчение были написаны на лице старого ученого. Болат проследовал за ним.

– Центр, Москва... Они всё привыкли валить на Центр да на Москву. В таком случае зачем вообще существуют местные власти? И чем озабочены руководители республики? Где же их гражданственность? Где граждане своей республики? – Славиков сообразил, что слово «гражданин» звучит последние годы на русском языке двусмысленно, повторил последний вопрос по-казахски: – Где азаматы?

– Азаматы? – с сарказмом переспросил Болат. – Какой это гражданин, какой это первый секретарь?! Советский бай это, а не первый секретарь! Это ж просто недоумок! И ему мы пытались что-то объяснить: да мы сами после этого чокнутые, ей-богу, Матвей Пантелеевич!

– Ты прав, Болат. Таких, как мы с тобой, и называют «дураками с дипломом», – неожиданно развеселился Славиков.

...Лишь двое из одиннадцати членов бюро выступили тогда против разведения рыбы-змеи. Это были Ержанов и Жарасбай. Да, было о чем призадуматься Кахарману, было что вспомнить, когда он в одиночестве вышел на палубу, задумчиво глядя на проплывающие мимо пустынные, безлюдные берега. Ибо и невеселая судьба Иртыша – реки, казалось бы, далекой от тех мест, где он жил и вырос, – напомнила ему о несчастье Синеморья. Древний, некогда могучий Иртыш превратился теперь в послушную, покорную речку. Как не предаться горечи, глядя на обваливающиеся, заброшенные его берега! Далеко отступила от них теперь вода – жалко плещется вниз, а берега крошатся, много на них гниющей древесины, да и сами леса, что тянутся вдоль берегов, утратили былую красоту и прелесть. По словам помощника капитана Саши Ладова, всё здесь было раньше по-другому, всё было лучше, богаче – до тех самых пор, пока не ступила и в эти края «нога преобразователя». Ему-то, Саше, можно верить – этот парень родился на Иртыше, вырос в этих краях. Ушли из жизни старики, которые пугали остающихся жить на земле Хозяином Здешной Воды. Старики говорили, что Хозяин покарает любого, кто будет глумиться над рекой, кто будет неразумно пользоваться ее водою. Теперешние люди даже не стали бы прислушиваться к таким темным их словам, ведь век техники всё крепче и крепче стискивает стальными клещами сердце матери-земли, никто и не думает остановиться, оглядеться, задуматься и ужаснуться тому, что натворили люди на своей земле. Неужели все они в массе напоминают ту рыбу-змею, которая сжирает все вокруг себя? Неужели не понимают, что настанет время, когда эта рыба начнет пожирать самое себя?

Лопасты парохода буксира оставляли после себя бурные, пенящиеся волны. Кахарман стал замечать мелькающих в волнах шук. Щуки были большие, серые, какими бывают древние-древние камни. Вот такого серого цвета – цвета серых древних, реликтовых камней – была и Ата-Балык, которая когда-то водилась в Синеморье. Жива ли она сейчас, Ата-Балык, не сожрали ли и ее хищные рыбы-змеи?

Впервые Ата-Балык приснилась Кахарману еще на Балхаше. Это была та самая добрая рыба, которая в детстве спасла его от сома.

В то время в аулах во главе дел стояли женщины; поскольку мужчины еще не вернулись с войны, женщины целыми днями пропадали в море, оставляя детей старикам и старухам. Старые занимались хозяйством: пряли, теребили шерсть в тени домов и юрт; трудно было им уследить за внучатами, и дети, пользуясь этим, частенько убегали к морю. На побережье было раздолье, здесь не было взрослых – лишь сумасшедшая Кызбала иногда проходила босая, что-то бормоча про себя. В море мелькали паруса, поднятые рыбаками. Во время войны рыбы в Синеморье водилось в изобилии – поэтому женщины не уходили далеко в море на ее поиски, ставили сети вблизи берега. Случилось так, что на заигравшихся детей напал хищный сом. Однажды это случилось и с Кахарманом. Он вместе с ребятами резвился в море, как вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила оторвала его ступни от дна и понесла мальчика по воде плавно и неотвратимо – так, как будто бы он встал на мчащиеся водные лыжи. «Апа!» – вскрикнул он в ужасе, потому что на близком расстоянии от себя увидел раскрытую пасть огромного сома. Другие дети тоже закричали от страха и бросились вон из воды. Кахарман, против своей воли, стремительно летел в пасть сома. В это самое мгновение какая-то большая рыба, вынырнув из глубины, встала между сомом и ребенком. Кахарман ударился грудью о бок этой рыбины. Та вильнула и сильным ударом хвоста отбросила Кахармана в сторону. Его выбросило из воды, спиной он ударился о песок и потерял сознание.

Ребята потом рассказывали ему: сом до половины заглотнул добрую рыбу – она застряла у него в пасти. – «А рыба спаслась?» – спросил он. – «Откуда мы знаем? – наперебой отвечали ребята. – Обе рыбы, не расцепившись, уплыли в море».

После этого случая Кахарман стал пугаться во сне – кричал, просыпался, долго не мог успокоиться и заснуть. Корлан поначалу ничего не замечала. Она возвращалась с моря поздно, валясь с ног от усталости. Поужинав, в полудреме добиралась до постели и засыпала мертвецким сном. Назавтра надо было вставать чуть свет и снова браться за весла. Но однажды она услышала этот плач. Кахарман плакал и бормотал сквозь слезы: «Спаси меня, Ата-Балык... Сом... сом раскрывает пасть... Апа! Апа-а-а-а...» Корлан легла рядом, притянула к себе сына и стала гладить его по голове, чтобы мальчик успокоился. Кахарман отпрянул от нее, вскочил – он глядел на мать, и в глазах его стоял ужас. Глотая слезы, задыхаясь, он стал спрашивать Корлан: «Апа, Ата-Балык жива? Где она сейчас?» Корлан не могла понять, о чем ее спрашивает сын, но отвечала: «Конечно, она жива, мой мальчик. Успокойся». Она уложила сына рядом. Со сна ей показалось, что он спрашивает ее об отце. Она поглаживала Кахармана и, сама засыпая, все повторяла и повторяла: «Отец жив... конечно, жив. Разве мне, разве твоему отцу Насыру можно умереть, не поставив вас на ноги?»

Три месяца назад пришла похоронка на Насыра. Но Корлан не поверила «черной бумаге». Зато мать Насыра после этого резко сдала: трудно ей стало управляться с домашним хозяйством, сил у нее оставалось только на то, чтобы приготовить чего-нибудь горячего хотя бы один раз в день. Корлан и за это была благодарна свекрови – всё ж таки как могла помогала ей старая мать Насыра,

тяжело бы пришлось растить без ее помощи двух девочек и сына. Не дай бог умрет она – начнутся для Корлан совсем трудные дни.

А Кахарман всё прижимался к матери и спрашивал: «Апа, а может, жива та добрая рыба?» – «Спи, сынок, – по-прежнему шептала Корлан. – Жив твой отец, скоро вернется». Вскоре она, оставив уснувшего сына, тихонечко вышла из дому.

Пора было идти в море. Свекровь уже хлопотала у огня – ставила в горячую золу кувшин с водой. Корлан поделилась с ней своей тревогой:

– Апа, кажется, Кахарман напуган чем-то: плачет во сне. Надо бы пригласить Откельды емши...

– Пригласи, доченька, пригласи, – ответила та.

Откельды пришел на закате солнца. Высокий, худой старик, он, как всегда, был одет в длинный белый халат. Лекарь попросил воды, Корлан принесла пиалу. Откельды, склонив над пиалой строгое, аскетическое лицо, прочитал молитву. Затем, приговаривая одному ему известные слова, трижды провел пиалой вокруг головы Кахармана и брызнул на мальчика несколько раз водой.

– Завтра всё будет хорошо, – сказал он, прощаясь.

После этого Кахарман перестал пугаться, но часто видел один и тот же сон: Ата-Балык, легко разрезая морские волны, сверкая блестящими глазами, плывет рядом с ним. Когда Кахарман устает, Ата-Балык подставляет ему спину, он взбегается – и рыба несет его дальше.

Добрая рыба снилась ему и через много лет, когда он стал совсем взрослым. Но всё реже и реже в последнее время приходит к нему этот чудесный сон. И всё чаще и чаще снятся ему брошенные, ржавые корпуса кораблей на песке, снятся хищные сомы да копошащиеся клубки рыбы-змеи. Иногда он делает усилие, чтобы вновь представить себе круглые черные глаза Ата-Балык, но видится она ему не такой радостной, не такой резвой, как прежде. Она вяло движется, устало отворачивается от Кахармана. В глазах ее – застывшая тоска, безысходная обреченность.

У Кахармана при этих мыслях увлажнились глаза, и он с трудом проглотил подступивший к горлу комок.

Полтора года проработал он на Балхаше и понял: это древнее озеро тоже находится в плачевном состоянии. Пришлось оставить и Балхаш. Не было сил сознавать, что у этого озера такая же бедственная судьба, как у родного Синеморья. Кроме того, не хотелось бы ему встречаться с рыбаками Синеморья. Интуиция подсказывала ему: это – соль на рану. А рана эта была теперь неизлечима, и не было никаких средств против недуга. Только спиртное могло заглушить на короткое время эту боль.

Раньше Кахарман выпивал немного, да и то в гостях да по особым случаям, чтобы не обижать людей. Скажи ему тогда, что он найдет утешение в водке, – разве бы он поверил? Ему и в голову не могло прийти такое. А теперь...

Конечно, его нельзя было назвать вовсе пропащим человеком, но как только тоска и тяжелые мысли наваливались на него, он брался за бутылку.

...Десятка полтора рыбаков передвижной экспедицией прибыли на Балхаш в марте. Это были земляки старого жырау Акбалака из колхозов Шумгена и Караоя. Конечно, их самолюбие было уязвлено тем, что они вынуждены ехать в такую даль за рыбой, но к чему не привыкнешь в нынешние времена?

Прибыв, рыбаки тотчас бросились искать Кахармана. Бригадиром в этой группе был Камбар, близкий родственник Акбалака. Работящий, рукастый человек, он и мыслил широко, жаль только, не получил образования в свое время, а то бы легко мог управлять большим хозяйством. Кахарман, веря в него, в свою бытность среди руководящего состава рекомендовал Камбара председателем колхоза, но в райкоме отменили эту кандидатуру: три класса образования, мол, всего у человека.

Кахарман жил в трехкомнатной квартире на окраине города. Когда раздался стук в дверь, сразу же понял – это они! Только земляки могли забыть, что в городских квартирах существуют дверные звонки. Айтуган бросилась открывать. «Легки же на помине...» – подумал Кахарман. Только что за чаем они говорили с женой о земляках. Кахарман рассказывал ей, что уже присмотрел для них на Балхаше место, славящееся хорошим уловом.

– Здравствуй, Айтуган, – раздался с порога голос Камбара. – Давненько тебя я не видел. Как вы здесь, на новом-то месте? Как дети?

Кахарман крепко обнялся с каждым из рыбаков. Айтуган пошла хлопотать на кухню, а Кахарман, истосковавшийся по землякам, жадно глядывался в их лица. Но что мог прочесть он в них кроме прежней тревоги? Невеселы были эти лица. Если Синеморье превратилось в пыльный солончак, если оно умерло – чем же питаются людские души? Какая радость от рыбацкого труда, если не вкладываешь в него сердце? Пойманной рыбы едва хватает только на насущные нужды. Получается, что этот тяжкий, ежедневный труд ничем не отличается от труда рабского, подневольного.

Ни одно лицо не понравилось Кахарману, ни одно лицо не обрадовало его. Кахарман горько усмехнулся, отдавая себе отчет в том, что и в его глазах рыбаки, наверно, читают ту же печаль. Он прямо сказал об этом Камбару, и тот без обиняков стал отвечать на все его вопросы.

– Ты так подробно спрашиваешь нас, как будто сам не знаешь нашей жизни, Кахарман. А вот ответ лучше ты. Ты изо всех сил боролся за спасение Синеморья. Мы слышали, ты два месяца пробыл в Москве. Чего ты там добился? – сказал он и осторожно потрогал пальцами растрескавшуюся воспаленную кожу на обветренном лице. Как и в прошлые годы, его бригада всю зиму кочевала по большим и малым водоемам Дарьи. Неблагодарный это труд: надо долбить лед, ставить сети, затем тащить их с помощью ездовых верблюдов. И это с раннего утра до позднего вечера, в любую непогоду, в любую стужу. А улов – всего-то ничего, смех да слезы, как говорится, но и этой малости рады рыбаки.

– Москва... – задумчиво проговорил Кахарман. – Ездить в Москву за милостыней нам не в диковинку. О Москве еще потолкуем... – И, видя, что его друзья совсем приуныли, обратился к Есену: – Расскажи, Есен, чего-нибудь – чего молчишь? Помнится, раньше ты рта не закрывал...

Неунывающий Есен выглядел усталым, поникшим. Наверно, и его надломил такая безрадостная жизнь.

– Насыр-ага и Корлан-апа живы-здоровы. Но вы сами знаете, Кахарман-ага, как они беспокоятся о вас. – Есен вынул из внутреннего кармана два конверта и протянул один из них Кахарману. – А где же Бериш? Второе письмо для него.

– Должен вот-вот подойти, – ответил Кахарман. – Далековато ему ездить на тренировки... Мать на сердце не жалуется?

– Жалуются. Когда поднимается ветер, Корлан-апа и моя мать пластом лежат у печи – даже головы поднять не в силах. Говорят, в такую погоду особенно сказывается влияние урановых рудников Байконура и Шиелы. Худо, Кахарман-ага, совсем худо, и с питьевой водой худо... – он махнул рукой.

А Камбар добавил:

– Этот ветер – чистое бедствие, Кахарман. Ничего не видать вокруг, только белая пыль, серый туман. Было уже несколько случаев, когда в такой ветер те рялись и гибли люди...

Айтуган, накрывавшая на стол, замерла и вздохнула:

– Тяжело там матери с отцом, конечно, – мы и сами чувствуем. Мы долго уговаривали их поехать с нами, – так ведь не захотели...

Айтуган хотела сказать, что они с мужем бежали из родных мест отнюдь не для своего благополучия и собственного спасения. Родители не были бы им здесь обузой, как, впрочем, и везде. Да и найдется ли казах, который бы отказался от своих родителей? И хотя времена сейчас наступили такие, что были случаи, когда неблагодарные дети бросали родителей на произвол судьбы, разве такое можно было бы сказать о Кахармане и Айтуган? И рыбаки поняли ее слова правильно, именно так, как того хотелось Айтуган.

– Айтуган, милая, разве кто-нибудь укоряет вас с Кахарманом? – поддержал ее Камбар. – Каждому бы иметь такого сына и такую сноху. Насыр аксакал живет по своим убеждениям – и кто ему тут судья? Он не желает покидать свои родные места, но ведь там он не бездействует, по-своему борется за Синеморье...

Вскоре вернулся Бериш. Увидев гостей, бросил сумку на пороге и, как отец, обнялся с ними. Особенно долго он тискал Есена. Потом взял письмо и стал читать – рыбаки следили, как меняется выражение его лица.

– Скучаешь, Бериш, по старикам? – ласково спросил кто-то из гостей.

Теплая волна нежности накрыла Бериша, на глаза навернулись слезы, и он, пряча их, низко опустил голову. Некоторое время, не поднимая глаз, юноша прислушивался к разговорам взрослых.

А разговоры эти продолжались и за дастарханом. Говорил большей частью Камбар, на правах старшего по возрасту.

– Не могу понять, чем души наши живы. Второй год скот не родится, урожая нет на полях, всё сжигает горячий соленый ветер. Как же так можно жить дальше – рыбы нет, скотины нет, рис совсем никудышный, очень мало его... Да советские мы люди, в конце концов, или враги?! Кто с нами так поступает, будто мы враги? Зачем? Я ничего не понимаю... Мы ж на фронте воевали, ордена, медали с войны принесли, так за что же правительство так с нами? В последние годы увеличилось случаи заболевания раком, скот наш туберкулезом поражен...

– Кахарман-ага знает, что рак теперь встречается куда чаще, чем прежде, – вмешался Есен. – Но он не знает, что рак теперь стал быстротекущим...

– Да-да – этот рак развивается мгновенно. Два-три месяца – и нет человека. Возможно, сама природа в наших краях мстит нам. Ходжа Абусагит был совершенно здоровым человеком – кровь с молоком, как говорится. Проболеел всего три недели и скончался перед самым нашим отъездом. Сын его должен был ехать с нами, так остался, чтобы справиться сорок дней. Эта болезнь не смотрит на возраст – за последнее время умерло от рака несколько совсем молодых людей.

– Кто они? Я знаю их? – спросил удрученно Кахарман.

– Багдаулет – сын Тайтолеуа, Шокан – Сарсенбая, Серик – Шомишбая, Сагынай – Идриса... – с нескрываемой горечью ответил Камбар.

– Еще сын Хаджимурата – Жакуп. Он учился в Одессе на морского инженера. Да всех и не перечислить, – добавил один из молодых рыбаков.

– Рассказывают, что, когда родные приехали забирать тело сына, преподаватели института заявили, что больше не будут принимать на учебу ребят из Синеморья. Рак якобы заразная болезнь...

Слушая рыбаков, Кахарман размышлял. Стало быть, молодеет рак, если уносит из жизни людей в самом расцвете сил. Все, кого перечислил Камбар, совсем молодые люди, между двадцатью и тридцатью. А ведь интересная жизнь ожидала их в будущем.

Только всё непредсказуемое, злое становится она по части подстерегающих опасностей – это факт. Однако разве не в своих же смрадных нечистотах погрязло человечество? Ведь деградация не вчера началась, а с того дня, когда человек впервые пролил кровь своего брата. А эти эксперименты – над мышами, кошками, собаками – разве не понятно, что такой же эксперимент рано или поздно будет проделан над человеком? Наука не гуманизм утверждает, а эгоизм. О, это самовыражение, будь оно проклято!

Занятый этими мыслями, Кахарман ушел было от общего разговора, как к нему обратился Есен:

– Мы тут вконец заговорили вас, Кахарман-ага, своими бедами... Уж не обижайтесь на нас.

– Чего мне на вас обижаться. Такова теперь наша действительность – ни одного доброго слова не приходит на ум; я всё это понимаю, Есен...

Снова заговорил Камбар:

– Кахарман, мы поделились с тобой мыслями, передали привет от родных. А теперь ты всё же расскажи нам о своей поездке в Большой аул – в Москву. Есть там хотя бы один человек, кроме Мустафы, желающий вникнуть в наши беды?

– А что вам рассказывал мой отец? – ответил вопросом на вопрос Кахарман. – Он ведь тоже ездил в Москву.

– Вернулся Насыр-ага совершенно больным, разбитым – тут же слег. Пришли к нему в гости да чувствуем – совсем нет желания у человека общаться. Всего лишь пару слов сказал нам: «Мне нечего рассказывать об этом проклятом мире и о людях, потерявших человечность и честь. Дело наше, как я понял, пропащее. Синеморью пришел конец».

Кахарман усмехнулся – Камбар в точности воспроизвел голос и интонацию Насыра.

– Вылитый отец! – сказал он.

Айтуган и Бериш переглянулись и тоже заулыбались.

Кахарман, оглядывая рыбаков, поочередно задерживаясь глазами на лице каждого из них, стал рассказывать о встречах в Москве, о людях, с которыми пришлось ему там видаться и говорить.

– В общем, два мнения вокруг этой проблемы. И неизвестно, чья точка зрения победит. Обе они в чем-то ущербны, хотя и с той, и с другой стороны спорят и ученые, и политики, и хозяйственники. В Москву я ездил и по поводу Балхаша. Но и здесь ничего утешительного не добился, – признался он напоследок.

Рыбаки были сильно разочарованы.

– Выходит, не жить больше Синеморью? – как на духу выпалил Камбар.

– Пожалуй, нам пора идти, – вмешался в разговор Есен. – Кахарману-ага надо отдохнуть, уже поздно...

Бериш стал уговаривать друга:

– Оставайся у нас ночевать, Есен...

– Оставайся, наговоритесь досыта... – позавидовал кто-то из молодежи.

Но Камбар и Кахарман всё еще продолжали сидеть за столом, отчего и другие не трогались с места.

– Айтуган, уважаемая, я бы хотел поговорить с Кахарманом наедине. Как ты на это смотришь? – вдруг спросил Камбар.

– Да оставайтесь все ночевать. Потеснимся, места всем хватит, в конце-то концов! – воскликнула Айтуган.

– Спасибо за твою доброту, но мне бы хотелось пригласить Кахармана к нам в гостиницу, там-то уж мы точно никому не помешаем. Есен, ты взял с собой торсук?

– Торсук я оставил в гостинице, – ответил Есен.

– Если ты не против, Айтуган, Кахарман отправится с нами. И Бериш пусть идет, там они с Есеном вдоволь наговорятся.

Айтуган прекрасно знала, что именно рыбаки держат в торсуке. Потому она шепнула мужу, когда тот одевался:

– Прошу тебя, не пей много и возвращайтесь с Беришем поскорее...

Убирая после гостей посуду, она с тревогой подумала, что прежде не было такого, чтобы Кахарман уходил из дому с гостями, да еще в столь позднее время.

В гостинице, уединившись, Кахарман с Камбаром еще долго говорили обо всем на свете – им было что рассказать друг другу. Камбар, узнав, что Кахарман позаботился о хорошем местечке для ловли рыбы, очень обрадовался.

– Завтра же расскажу об этом ребятам, пусть они чувствуют твою заботу, пусть хоть чуточку встряхнутся. Нам, пожилым, еще ничего, а молодежь быстро ломается. Ведь в первую очередь молодым не хватает работы. Скитаемся по всем озерам и рекам Казахстана в поисках рыбы, как бродяги. Шутка ли, оторваться от дома на семь-восемь месяцев...

Кахарман слушал старшего друга не перебивая. Спиртное действовало. Он чувствовал облегчение, тяжкие мысли отступали, и даже возникла какая-то надежда. «Вот что может быть усладой души», – думал он. Сначала он боялся, что выпивка помутит его сознание. Напротив, мысли его прояснились, глаза засияли, он почувствовал такую душевную легкость, что, казалось, готов был взлететь. Разве не правы были поэты, воспевшие в стихах силу вина...

– Слушай, Камбар! – весело воскликнул Кахарман и стал декламировать Омара Хайяма:

Так как разум у нас в невысокой цене,
Так как только дурак безмятежен вполне,
Утоплю-ка остатки рассудка в вине:
Может статься, судьба улыбнется и мне.

Камбар хорошо понимал, какие чувства, какие сомнения могут одолевать человека, оторвавшегося от родных краев. Да-да, Кахарману надо было хотя бы здесь чуть-чуть забыться. И Камбар подлил ему спирта в стакан. Кахарман

выпил, не разбавляя. К полуночи он с любовью глядел на Камбара, приобняв его за плечи:

– Да, Камбар, только человеку дано понять душевные муки другого человека – спасибо тебе, что ты приехал, зашел ко мне... – Язык у Кахармана заплетался. – Только человек способен... – начал он свою мысль снова. – Давай-ка вспомним, Камбар, что говорил Абай... Как же это он сказал... Ага, вот!.. Э-э-э... да как же он говорил?

Кахарман терзался, слова Абая никак не шли на ум. Наверное, он много выпил... так-так, значит, хватит, значит, достаточно. Хмель, принесший на какое-то время облегчение, постепенно стал слабеть – снова стали теснить его душу тоска и отчаяние. Так что же сказал великий Абай о своей боли? Он ведь хорошо помнил эти строчки, в последнее время часто повторял их, а теперь почему-то не идут они на память... А, вот же они! Кажется, вспомнил: «...Против тысяч сражался – не обессудь!» А как же начинается строфа? Где эти строчки, где та тоска, которая много-много лет назад жгла нутро Абая и вот теперь словно бы переселилась в другого человека – в него, в Кахармана?

...Вернулся он только под утро. Кахарман лег в постель, но уснуть не мог. Сквозь дрему вдруг явственно услышал голос Камбара: «Синеморье гибнет, земля оскудела и стонет от боли, а большие люди где-то там не могут прийти к согласию – разве это не ужасно? Их спорами правит честолюбие, они терзаются черной завистью друг к другу, алчностью терзаются, забыв о том, что все мы смертны, забыв о милосердии и Боге. Никому нет до нас дела! Но если счастье изменило даже Синеморью, то что такое вообще человеческое счастье? Мыльная пена, которую смывает грязный поток. И неужели даже горе не способно сплотить людей?»

В душу взглядись глубже, сам с собой побудь:
Я для тебя загадка; я и мой путь.
Знай, потомок, дорогу я для тебя стлал,
Против тысяч сражался – не обессудь!

Да-да, именно так говорил Абай! Какие мощные, сильные слова! И какая неизбывная горечь в них!

Он так и не уснул этой ночью. Стоял, курил у окна. Потом принялся собираться на работу. Не стал делать привычную зарядку, не поцеловал перед уходом, как обычно, Айтуган.

– Право руля! Право руля! – крикнул кто-то с берега.

Кахарман приказал:

– Глуши мотор! Помогите баржу отцепить!

Вся команда сошла на берег, а Кахарман спустился в каюту, расстегнул китель и плюхнулся на диван. Хотелось пить, но лень было подняться. По радио передавали последние известия.

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ МОРСКОЙ ФАУНЫ ОТМЕЧЕНА В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ Норвегии и Швеции на стыке Северного и Балтийского морей.

АВАРИЯ ТАНКЕРА «ВАЛДИЗ» ВОЗЛЕ ПОБЕРЕЖЬЯ АЛЯСКИ СТАЛА КРУПНЕЙШЕЙ экологической катастрофой подобного рода в истории США.

СОТНИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВКЛЮЧАЯ РАЙОНЫ БУЭНОС АЙРЕСА, оказались под водой в результате ливней, которые обрушились в минувшие дни на побережье Аргентины.

УРАГАН НАД ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ ПРОДОЛЖАЕТ БУШЕВАТЬ. ГАМБУРГ – крупнейший портовый город ФРГ подвергся самому крупному наводнению за последние 90 лет. В приморских районах Англии разбушевавшимся морем смыты плотины и дамбы, защищавшие побережье от наводнений.

ВСЕМ ПОЖАРАМ ПОЖАР. ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ДЛИТСЯ ЭТОТ НЕБЫВАЛЬНЫЙ пожар. Горят автомобильные покрывки – 14 миллионов «лысых» шин, скопившихся на свалке на окраине небольшого городка Хейгервилл, что в 90 километрах от Торонто. Причина возгорания неизвестна, а огонь практически не поддается тушению.

В АВСТРАЛИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СИЛЬНО РАЗМНОЖИЛИСЬ МЫШИ. Мелкие грызуны наносят большой вред сельскому хозяйству. А штат Уэльс, житница страны, объявлен районом «мышинного бедствия».

ЦИКЛОН, НАЛЕТЕВШИЙ С СЕВЕРО-ЗАПАДА НА ЮГ КАЗАХСТАНА В начале недели, за сутки смешал землю с небом.

В РАЙОНЕ СИНЕМОРЬЯ СЕГОДНЯ СЕДЬМОЙ ДЕНЬ БУШУЮТ СОЛЯНЫЕ ураганы. Согласно прогнозам синоптиков, ослабления ветра не ожидается. Вышли из строя линии электропередач, размывты железнодорожные пути, прервано автомобильное сообщение. В городах и поселках трудности с питьевой водой, разрушены дома. Спецрейсом в район бедствия прибыли члены Государственной комиссии.

Если уж поднялся такой ветер в Синеморье – много он принесет недоброго. Ураган часто меняет направление и способен уничтожить весь урожай в целинных областях, не пощадив и хлопок Узбекистана. Тогда и над Иртышом пройдут соляные дожди... Когда они только что переехали сюда, Айтуган поначалу не верила, что и здесь бывают эти, так называемые, «аномальные осадки». Кахарман лишь горько усмехнулся в ответ: «Неужели ты не понимаешь, Айтуган? Это Синеморье шлет нам свои подарки». – «Значит, беды наших родных краев могут сказаться и за тысячи километров?» – простодушно удивлялась Айтуган. «Да, недуг, который случается в одном конце Земли, обязательно даст знать о себе совсем в другом. Таковы закономерности природы. Вот бы так было и в человеческом обществе! Увы, нет этого». Справедливость и зло, щедрость и алчность, совесть и бесстыдство, мужество и трусость лишь сменяют и дополняют друг друга...

«Ты все о том же печалишься, Кахарман, – мягко ответила Айтуган. – Раньше я не понимала строчек Абая: «Не будь сыном своего отца, а будь сыном своего народа», – думала: как же такое может быть? А теперь знаю – есть такие люди на земле, и один из них...» Она не закончила, отвернулась.

...Мчатся годы, все чаще и чаще человек задумывается о своем предназначении, и если ты мыслящий человек, тебе невозможно пройти мимо великого Абая. Кахарман не расставался с книгой Абая. Он страдал над страницами, ибо была она и правдива, и горька. Но и черпал в ней силы, оттачивал ум. За годы скитания он многое почерпнул не только из жизни, но и из этих живых, трепетных строк. Однако только в последние годы стал он понимать, почему умудренные опытом

люди – Насыр и Акбалак – получали наслаждение от стихов великого поэта, говоря с упоением о том, что только Абай мог писать истинные стихи. Он понял, что Абай – разный. И еще – что у каждого свой Абай.

Между тем открылась дверь каюты, на пороге возник улыбающийся помощник Саша Ладов.

– Капитан, – обратился он к Кахарману, – несусветная жарщица. Не хотите пивка принять?

– Я не против, – рассеянно согласился Кахарман. – Неси, коли есть.

Он продолжал думать об услышанном по радио. Конец августа, а от Бериша никаких вестей. Хоть бы телеграмму дал – трудно, что ли, додуматься? На лето он уезжал в Синеморье, к деду и бабке – Кахарман не держал его, понимал парня. А вдруг он сейчас в одном из тех поездов, что остановились в степи из-за непогоды? Хотя... парень он совсем уже взрослый, пусть привыкает к трудностям.

Вернулся Ладов.

– А я-то думал, что вы все приготовили, Кахарман Насырович, стол какой-никакой накрыли. А вы все в иллюминатор глядите, как будто там что хорошее можно увидеть, – шутиливо зачастил он, выгружая пиво из сумки, вытащив связку сушеной воблы.

– Обойдемся, – махнул рукой Кахарман. – Какой еще стол? Постелим газету – и хорош!

Ладов принялся разливать, поглядывая на Кахармана.

– Что-то не в духе вы сегодня, капитан...

– Да все думаю. В Синеморье седьмой день ураган, а там и родители мои, и сын... Впрочем, ты прав, так дальше нельзя. – Кахарман встряхнулся. – Гулять так гулять, тем более с получки – ты не забыл, что сегодня получка? Я сегодня тебя угощаю на берегу! Как ты смотришь на это?

– Категорически против, – возразил Ладов, краснея.

– Я старше тебя, Саша, и первый пригласил тебя. Ты живешь среди казахов, а по нашему обычаю ты не имеешь права отказаться от приглашения.

– Получается, что все время приглашаете вы. Мне просто неудобно уже...

– Будем считать, что договорились, – заключил Кахарман. Веселое настроение не приходило; он снова безучастно отвернулся к окну и принялся автоматически пить пиво – не чувствуя ни вкуса его, ни прохлады.

...После той ночи на Балхаше, проведенной им в разговорах с Камбаром, Кахарман чувствовал себя на работе плохо и даже хотел взять отгул, чтобы отоспаться, прийти в себя, как вдруг узнал, что сегодняшним вечером в Доме культуры комбината состоится встреча с учеными, прибывшими из Москвы и Алма-Аты. Он не мог пропустить эту встречу.

Зал был набит до отказа, только в последнем ряду нашлось свободное местечко. Сев, он оглядел президиум – все люди, из которых состоял президиум, и ученые, молодые и старые, и крупные областные руководители, все как один холеные, опрятные, чинно восседавшие за длинным столом, – были ему знакомы. Здесь были академик Ситников, академик Баранов, академик Сарымсаков, министры – Водолазов и Примус, академик Кошечкин, руководители хозяйств Итбаев, Сытых. Проводил эту встречу председатель горисполкома Еркинов. Со многими из этих людей Кахарман был знаком лично, не раз встречался. Кое с кем был у него доверительный, толковый разговор; с другими он спорил, с не-

которыми даже ругался. Ни с кем из них, однако, он не нашел общего языка. Все эти люди, сидящие за столом, покрытым красным бархатом, были за политику поворачивания вспять сибирских рек.

Один за другим выступали ученые, их сменяли руководители хозяйств: высказывались все вразнобой, порой совершенно не понимая друг друга. Гидрогеолог не понимал биолога, биолог не признавал экономиста, экономист не понимал руководителя хозяйства. Не было единого мнения. В конце концов сидящие в президиуме обратились за помощью к тем, кто находился в зале. А простым людям уже совершенно невозможно было разобраться в том, в чем не могли найти ясности ученые мужи. Люди, привыкшие голосовать по приказу президиума «за» или «против», сейчас, не слыша конкретных указаний, замерли в молчании. «Скажите нам точно, «да» или «нет», – раздался женский выкрик. «Говорите громче, не слышно», – отозвался выступавший академик Саткынов. В зале по-прежнему была тишина. Наконец поднялся с места руководитель Казахского государственного гидрогеологического управления Сийрбаев. Он начал на высокой ноте. «Неуместно в наш век, когда наука и техника так быстро шагают далеко вперед, упрекать нас Капчагайским водохранилищем!» Неприятный, крикливый голос резанул Кахарману слух. «Уже двадцать лет мы говорим о том, что надо спасать Балхаш. Простите, от чего спасать? Разве кому-то стало плохо от того, что мы соорудили Капчагайское водохранилище? Вы в Балхаше ловите рыбу, как и много лет назад. В полях собираете рис, а Капчагайская ГЭС – дополнительный источник – и мощный источник, заметьте! – электроэнергии. Город Балхаш на берегу Балхаша цветет и развивается. Я думаю, что неуместно без конца беспокоить руководство наверху необоснованными жалобами».

Кахарман начал понимать цель этого собрания. Ортодоксальные ученые, а также руководители республики были озадачены тем, что нарастает общественное недовольство Капчагайским искусственным морем. А на сегодняшний день такое недовольство стало очевидным – сам факт собрания свидетельствовал об этом.

После Сийрбаева попросил слова коренастый мужчина – он представился профессором из Института по изучению морей при Академии наук. Его мнение было таково: западную часть озера необходимо сохранить, а восточную – уничтожить. Поэтому нужно энергично в самое ближайшее время взяться за строительство перемычки в проливе Узун Арал. Другой ученый – профессор из института гидрогеологии – стал тут же оспаривать это мнение. Потом слово взял министр Волкодав. «Надо отметить, что в бассейне Или – Балхаш на сегодняшний день очень выгодно используются водные ресурсы. Мы осуществили программу Совета Министров, которая предусматривала заполнить водой Капчагайское водохранилище. Мы уменьшили количество хозяйств в Акдале, выращивающих рис. Бесспорно, эти усилия предприняты для оздоровления ситуации на Балхаше. Я не понимаю, почему все как один противятся строительству этого большого канала. Считаю своим долгом сказать – если не сегодня, то завтра эта проблема обязательно встанет перед нами и перемычку в проливе Узун Арал нам придется строить: от этого не уйти!»

Когда слово предоставили Игорю Славикову, Кахарман весь подался вперед. «И когда он успел приехать сюда?» Кахарман не ведал о его приезде. Или он по каким-то своим соображениям специально не дал знать об этом?

Младший Славиков выглядел усталым, осунувшимся, но возмужавшим.

– Дорогие товарищи! – начал он свое выступление. – Не может не радовать то, что ученые и руководители хозяйств вышли на люди поделиться своими сомнениями, мыслями. Это собрание – диалог, все мы здесь высказываемся вслух и пытаемся увидеть нашу проблему и шире, и глубже. Напоминаю, что мой отец, профессор Славиков, практически всю свою жизнь посвятил проблемам Арала, Каспия и Балхаша. Я, в свою очередь, тоже стараюсь внести посильную лепту в это большое дело. Хочу обратить внимание на такой удивительный факт. Те, кто довел Или и Балхаш до сегодняшнего катастрофического состояния, по-прежнему держат в своих руках их судьбу. Именно они в свое время не стали слушать тех, кто был решительно против строительства Капчагайского водохранилища. Всем было ясно, что Балхаш издавна питается водами Или, и, лишенный этой воды, он обречен на погибель. Ученые доказали, что падение уровня воды в озере приведет к исчезновению рыбы и ондатры, что мы и видим сегодня.

Сегодня мы еще многое видим – неиспользуемая вода Или, которой катастрофически не хватает в Балхаше, уходит в песок. Что приближает гибель озера. Я в корне не согласен с многими деятелями науки, выступавшими здесь. В основе их взглядов – ведомственные амбиции. Они забыли, что долг ученого – защищать интересы природы, защищать общечеловеческие интересы, а не золоченые мундиры ведомств! Если мы позволим погубить такие сокровищницы Казахстана, как Балхаш и Арал, мы совершим преступление против всего казахского народа. Он не простит нам этого! Поэтому Балхаш должен жить! У меня все, товарищи!..

Последние его слова утонули в шквале аплодисментов.

Слово опять взял Сиирбаев:

– Товарищи! Тут намечается неправильное представление о хозяйственниках. Получается так, что ученые думают о рациональном отношении к природным ресурсам, а хозяйственники ученым противятся. Это не так. Мы тоже в тревоге и за день сегодняшний, и за день завтрашний. Но мы исходим из того, что человек вправе использовать богатства природы в своих интересах. Да, Капчагайская ГЭС вредит рыбе и другой живности Балхаша. Но давайте подсчитаем! Все издержки, связанные с потерей рыбы и ондатры в Балхаше, очень скоро будут покрыты доходами от сельскохозяйственной продукции. Не надо думать, что в Москве и Алма-Ате забывают об этих проблемах.

Взял слово взволнованный Болат:

– Тот, кто планировал строительство Капчагайской ГЭС, вспомнил о судьбе Или и Балхаша уже после того, как закончены были проектные работы. В свете этого я хочу рассказать о неблагоприятных действиях академика Саткинова. Он не раз обращался ко мне с просьбой подтвердить выгодность для нашего региона Капчагайской ГЭС. Даже обещал богато одарить... Я, естественно, не пошел на это – выгнал вон присланного им человека. И здесь заявляю, открыто – я до конца дней своих буду бороться за выживание Балхаша и Арала! С той же откровенностью хочу заявить, товарищи, общая программа по возрождению Прибалхашья существует только на словах, фактически ее нет, нет ее научного обоснования, нет даже научной полемики вокруг этой большой проблемы, нет широкого общественного обсуждения.

– Отличное выступление! – Пожилой мужчина, сидевший рядом, восторженно толкнул Кахармана в бок. – Молодец этот парень!

– А ведь точно он говорит!

– Верно излагаешь! Не робей! – слышались выкрики из зала.

Болат обратился к президиуму:

– Ученые, сидящие здесь, хорошо должны помнить, что в свое время профессор Славиков выступал против плотины на Кара Богазе. Никто тогда не прислушался к его мнению. А ведь он предупреждал: уровень воды в Каспии будет увеличиваться.

– Чепуха, вот уж много лет уровень воды в Каспии падает! – воскликнул профессор Баранов.

– Старые сведения! Вода в Каспии начинает подниматься, и это предвидел профессор Славиков...

– Где же доказательства? – выкрикнул академик Итбаев. – Зачем говорить бездоказательно?

– Есть! Есть у меня доказательства. Сейчас вы пытаетесь настоять на необходимости сооружения большого Аральского плато, совершенно не учитывая отрицательный опыт прошлых лет. Я хочу вам процитировать высказывания Славикова, датированные, правда, пятидесятью годами, но к нашей проблеме имеющие самое прямое отношение. – Болат вынул из нагрудного кармана листки и, развернув их, стал читать: – «Вода близ мыса Кара Богаз со временем сама по себе сойдет на нет. Исчезновение воды, несомненно, принесет огромные убытки этому краю. Прекратится поставка продукции треста Карабогазсульфат и сельскохозяйственных продуктов. Оскудеют пастбища, почвенный покров обратится в солончак». Тогда никто не обратил внимания на его слова, а ведь они оказались пророческими! Мы затратим миллионы на строительство большого Акдалинского канала, и Балхаш повторит судьбу Кара Богаза. Может ли кто-нибудь поручиться, что этого не произойдет? Никто не может! Так давайте же оставим, наконец, эту гиблую, бездумную практику – выигрывать в малом, а проигрывать в большом. Разве это социалистическое строительство? Это идиотизм, а не социализм! Я категорически против позиции партийных и хозяйственных органов в наращивании количества, против никчемной гигантомании, против погони за миллионами, – я против и как коммунист, и как гражданин! Уничтожить Балхаш, Арал – это все равно, что уничтожить народ. Необходимо спустить Капчагайское водохранилище и вернуть воду Балхашу! И не может быть иного решения этого вопроса!

– Товарищ Абильтаев! – Саткынов вскочил с места и стал гневно размахивать руками. – Вы еще ответите за свои клеветнические слова! – Потеряв самообладание, он перешел на «ты». – Ты что думаешь, исчезнет Балхаш – и вся жизнь остановится?! Вот такие пессимисты, как ты, диссиденты, одним словом, и есть враги социализма! Вы сеете в людях смуту, сеете между ними раздор!

Люди стали подниматься. Потянулись к выходу, не слушая брызжущего слюной руководителя республики. В зале стали выкрикивать: «Дайте слово простым людям!» Высокий мужчина крепкого телосложения, выбравшись из третьего ряда, быстрым шагом направился к трибуне. Это был известный в городе Балхаше металлург Нурахмет. Те, кто собирался покинуть зал, видя, что сейчас будет говорить сам Нурахмет-ага, задержались. Нурахмет, помедлив, собравшись с мыслями, обратился к президиуму:

– Уважаемые! Простые люди желают знать только одно: дадите вы возможность выжить Балхашу или будете душить его дальше до полной гибели? Я не против всяких идей, не против споров. Но если вас интересует наше мнение, то я скажу: мы хотим, чтобы восторжествовала истина. А истина для нас – это

здоровая, нормальная жизнь Балхаша, его благополучие, его спокойствие. Балхаш – земля моих предков. Говорю это потому, что кровь моей пуповины смешана с водой Балхаша. Наши предки оставили нам еще такие слова про ложь: «Кончается ложь – наступает унижение». Капчагайское озеро оказалось в конце концов унижением для Балхаша, для всех нас. Вот что постыдно. Радостно заявляли нам: создаем рукотворное озеро! Только выедешь за пределы Алма-Аты – и пожалуйста, купайся, загорай. А ведь под этим озером остались плодороднейшие земли! Под этим озером остались могилы наших отцов и дедов! Разве такое варварство может пройти для человеческой души бесследно?! Нет! Оскверненные нашим бездушием, могилы предков не дают мне покоя, и не надо толковать об атеизме. Ладно, допустим, что все это для вас пустые звуки: вышел, мол, на трибуну какой-то чужак и призывает стыдиться мертвых, ладно... Тогда ответьте на более понятный вопрос: что мы выиграли от того, что слили воду из Или в одну яму под Алма-Атой? В Балхаше нет сейчас ни сазана, ни жереха – ничего нет. Места нереста давным-давно пересохли. Исчезла ондатра. Овцы гибнут от болезней. Вместо воды в Балхаше сплошной рассол. Наш город Балхаш жив только благодаря ветру с озера. Не будь ветра – он давно бы сгорел от зноя. И он скоро сгорит, скоро – будьте уверены. Потому что вы не хотите спасти Балхаш! Вы уже погубили Арал – следующий на очереди Балхаш? Послушайте меня, я расскажу вам, что вы делаете. Жил в Синеморье мой фронтовой друг Ауезхан. Война пощадила его, не покалечила – а вот родное Синеморье доконало. Скончался, не проболев даже двадцати дней – рак желудка. Я недавно вернулся оттуда. Собственными глазами видел берега, оставленные водой. До сих пор у меня во рту вкус соли. Соль проникает в человека – от нее эти страшные болезни. Хотите ощутить ее вкус? Тогда поезжайте в Синеморье – там, на солончаковых берегах, и продолжите заседание. Заодно посмотрите, как живут там люди. Они не живут, онидохнут как мухи!

Так закончил свое выступление Нурахмет. И весь зал, как по команде, поднялся и направился к выходу.

– Куда вы? – всполошился председатель горсовета. – Мы еще не закончили!

Но его никто не слышал. Мужчина, который подбадривал Болату, хлопнул шапкой по колену:

– Продолжайте заседать! Мы-то вам зачем? Ничего вы нам толкового не сказали! Благодарите, что мы не освистали вас! – выкрикнул он, и зал грохнул. Потом сосед обернулся к Кахарману и тронул его за плечо:

– Парень, ты задремал, что ли? Пойдем-ка отсюда, все расходятся – видишь?

– Спасибо, аксакал. Я все-таки дождусь конца: узнаю, до чего они договорятся... – И Кахарман натянуто улыбнулся.

Практически он один остался в зале. Раскрасневшийся председатель горсовета был растерян:

– Что же делать, товарищи? Сами видите, какой народ у нас недисциплинированный...

Президиум, продолжавший восседать в полном составе, тоже был в смятении. Некоторые разводили руками, некоторые сидели потупив глаза.

– Можете продолжать говорить! – зло выкрикнул из последнего ряда Кахарман. – Как видите, в зале еще есть дурак, готовый слушать вас...

И все изумленно посмотрели на него.

На другой день Кахарман с Игорем и Болатом отправились на западное побережье озера навестить бригаду Камбара. Игорь и Болат были рады представившемуся случаю – они давненько не видели синеморских рыбаков, было видно, что они соскучились по ним. О вчерашнем заседании не было сказано ни слова. Когда выехали за город, Болат обратился к Кахарману:

– Теперь тебе надо перебираться в Алма-Ату.

Кахарман понял, что они с Игорем и прежде говорили об этом, потому что Игорь тут же поддержал Болату.

– Есть резон. Тебе надо обосноваться в Алма-Ате. Нам было бы легче с тобой...

Кахарман рассмеялся:

– Я же как Ихтиандр – не могу без воды. Тысячу раз отказывался от приглашений в Алма-Ату именно по этой причине. У меня уже сложившаяся психика – Алма-Ата мне кажется раскаленной каменной ловушкой, честное слово...

Игорь еще в Москве заметил его душевный разлад. Провожая друга на самолет, он счел нужным сказать ему откровенно:

– Замечаю, Кахарман, твое отчаяние. Не буду говорить тебе банальных вещей: мужчине, мол, не к лицу падать духом. Ты это знаешь лучше меня. Но и ничего другого в утешение я тебе не могу сказать. Мне это чувство тоже знакомо. Но я всегда в эти минуты вспоминаю отца. Он всю жизнь боролся за то, за что сейчас боремся мы с тобой. Он тоже часто бывал в отчаянии, он дико уставал – но ведь надежда не покидала его. Он мало чего добился за свою жизнь, но если бы сломался – не добился бы и этой малости. Так что суди сам... – Игорь, подбадривая Кахармана, не стал ему говорить, что готовится новая экспедиция в Синеморье. Цель экспедиции – дать научно обоснованную картину состояния моря. «Фиксировать его исчезновение» – так однажды подумал Игорь. Руководителем этой экспедиции был назначен он.

Конечно, Кахарман с пониманием слушал Игоря. Но разве в одночасье мог возродиться Кахарман – ведь отчаяние копилось годами, его он приобрел в долгом скитании из одного вельможного кабинета в другой. С каким бы чиновником он ни встречался, везде ему под занавес были готовы пустые обещания, отговорки, шаткие заверения. Были, конечно, слабые проблески радости. В Москве он добился того, что Министерство морского флота дало разрешение на открытие ремонтных мастерских по тем местам побережья, где исчезла рыба, в тех рыболовческих колхозах, откуда оставшиеся без дела рыбаки потянулись в чужие края. Две недели ему пришлось ожидать, когда его примет министр Буслаев. Насыр, приехавший с Кахарманом, возмущался, негодовал, чувствовал себя униженным и каждый день собирался уехать домой. «Кошке забава, а мышке – слезы, – все повторял он. – Удивляюсь я этому сухопутному морскому министру, толщине столичного бетона удивляюсь, высоте домов из этого самого бетона: хоть из пушек пали – не услышат; хоть умри – с высоты не увидят, охо-хо... Ты знаешь, Кахарман, ничего я не буду рассказывать землякам о своей поездке в столицу «семи морей» – очень тяжелый у меня на душе остался осадок. Так, видно, и помру с таким представлением о «белокаменной».

Насыр тяжело вздохнул, все продолжая собираться домой. Кахарман не стал его держать – тошно было старику здесь. Молча распрощался старик на Казанском вокзале с сыном и Игорем Славиковым.

...Буслаев принял Кахармана в десять часов вечера. Встретил министр Кахармана довольно-таки приветливо. Первое, что он спросил, – о Насыре:

– Слышал, что вы приехали с отцом. Где же он, этот старейший, заслуженный рыбак?

Кахарман объяснил, что отец не мог так долго оставаться в Москве и вернулся в аул.

– Значит, старый рыбак уехал, рассердившись на меня?

Кахарману показалось, что министр был действительно огорчен этим обстоятельством.

– Это так, в самом деле?..

Кахармана несколько озадачило, что такой занятой человек, как министр, спрашивает его не о сути дела, а об его отце.

– Не скрою, он отправился домой обиженным... Но думаю, что это не существенно в данном случае; я хочу вам рассказать о бедственном положении нашего края, нашего моря и наших людей...

Кахарману показалось, что министр неплохой человек, коли он так живо интересуется душевным состоянием одного – совершенно незнакомого ему – человека.

– Зря обидели старика, – задумчиво проговорил министр, после чего указал жестом на кипы бумаг и папок, что были свалены на его столе. – Заняты сейчас разработкой очередного пятилетнего плана. Я прочел ваши заметки, Кахарман Насырович. Поверьте, я не знал, что Синеморье находится в таком плачевном состоянии. И я, и товарищи в министерстве считают ваши заметки крайне нужными, крайне своевременными. Сегодня я звонил в Госплан, в Министерство здравоохранения, в Министерство водного хозяйства, в Академию наук – ввел всех в проблему, изложенную в ваших записях. Вроде бы все согласны со мной, что положение бедственное, все согласны с тем, что надо срочно что-то предпринимать, но ох как трудно привести в движение нашу бюрократическую машину. Придется ждать. Звонил я и Кунаеву. Рашидов вчера сам звонил. Я знаю их мнения, но согласиться я с ними не могу. Получается, по их мнению, что нам надо ждать воду с Севера. Но если ждать – мы совершенно точно погубим Синеморье! Заслуги Кунаева оцениваются по хлебу, который вырастит республика; заслуги Рашидова – по хлопку. Что отсюда следует? Каждый тянет одеяло на себя... Ну хорошо. Изложите, пожалуйста, вкратце еще раз суть этих проблем.

Кахарман в двенадцать минут скрупулезно изложил обстоятельства дела. Буслаев слушал директора рыбокомбината из Синеморья не перебивая.

– Уважаемый Виктор Михайлович! Вам бы самому собраться в наш край и собственными глазами посмотреть, что там сейчас у нас творится! – закончил Кахарман свой доклад.

– Но ведь у вас там и флота-то, поди, не осталось, чего уж там смотреть, – грубовато ответил министр.

– Полюбуетесь на его останки... – усмехнулся Кахарман и, желая сгладить излишнюю едкость своей остроты, добавил: – В Казахстане весь водный бассейн практически находится в тревожном состоянии: я имею в виду и мелкие реки, и некрупные озера. А Балхаш? Его тоже ждет невеселая участь. В народе говорят: «Если ты с уважением относишься к себе – враги вянут от бессилия перед тобой». Простите, Виктор Михайлович, но вынужден высказать свою резкую оценку в отношении Министерства рыбного хозяйства. Главная, роковая ошибка, которую оно допускает, – это небрежение к водным ресурсам внутри страны. Все наши мысли заняты теми богатствами, которыми нас щедро ода-

ривает океан. И совсем мы не обращаем внимания на неблагополучие своих морей, озер и рек. Гигантомания нас погубит, Виктор Михайлович, – теперь этим словом пугают даже детей!

Кахарман решил высказать все без утайки, если уж довелось встретиться с министром.

Буслаев слушал его в смятении, но нельзя было определить по его растерянному лицу, согласен он с Кахарманом или нет. Он хорошо понимал чувства и мысли директора, он даже залюбовался им, хотя это его теплое личное чувство было не очень-то уместно в подобной ситуации. «Безусловно, он прав, – размышлял министр. – Океан нам дарил миллионы: миллионы тонн улова, миллионы рублей прибыли. Какое нам было дело до копеечных озер и рек. А теперь это оборачивается экологической катастрофой».

В последнее время он все чаще и чаще вспоминал слова матери, которые она всегда любила повторять: «Разве может считаться народом, – говорила мать, – тот народ, который не ценит свою землю, не ценит богатства, заложенные в ней?» Мать Буслаева прожила до восьмидесяти шести лет. Он все собирался поговорить с ней по душам, все собирался провести с ней вечер-другой, но она скоростижно скончалась. Ему позвонили прямо в министерскую столовую – у него как раз был обеденный перерыв. Обедавшие с ним заместители выразили ему свои соболезнования. Он позвонил жене, попросил ее немедленно выехать. «А ты разве не едешь?» – спросила она. «Я не могу!» – резко, в отчаянии ответил он. И, справившись с вспышкой гнева, уже мягче добавил: «Иду в Кремль, на прием к самому Леониду Ильичу. Постараюсь быть, но позже. Ты возьми с собой кого-нибудь, сейчас вышлю машину». Он вернулся в кабинет, устало вытянул ноги в кресле. «Умерла мать, самый близкий и родной тебе, в сущности, человек, а ты не можешь все к черту бросить и выехать», – горестно подумал он.

Несмотря на возраст, мать сохранила ясный ум до самых последних дней. Она была сдержанной, но своенравной. Как ни уговаривал ее Виктор Михайлович переехать в Москву – не уговорил. Так и жила она до самой кончины в родной деревеньке на Брянщине, почитая скромные, незатейливые родительские могилы. Бывало, приезжала справить сыну день рождения, гостила недельку-другую. Но и этот короткий срок разлуки с деревней давался ей не без труда. Когда же сын предлагал дать ей машину, наотрез отказывалась. «Ехать за тридевять земель на черной «Волге»? Да меня вся Сосновка засмеет! Лизавета, скажут, королевой сделалась. Нет уж, я поездом, довезет, как миленький, напрямик до дому...»

Она вырастила шестерых сыновей и одну дочь. Настало время – разлетелись дети кто куда, в самые разные концы, работы везде хватает...

Как-то раз он приехал отпраздновать день рождения матери вместе со старшим Славиковым. Жена Виктора Михайловича, любившая во всем основательность и солидность, постаралась на славу: стол ломился от яств. Мать, сдержанно относившаяся ко всякого рода излишествам, сидела во главе стола сильно смущаясь. Вдруг поманила сына пальцем и, когда он наклонился к ней, тихо спросила: «Витенька, а ничего, что мы так размахнулись с угощением?» – «Мама, да ведь это твой день рождения! Пусть люди видят, как мы тебя любим. И есть за что: ты всех нас без отца вырастила, выучила... Золотая ты моя!» И он поцеловал мать. Гости одобрительно зашумели – видно было, что им нравятся и мать, и сын.

Однажды он вернулся с работы расстроенный, злой. А ночью вдруг проснулся, отчетливо услышав материнский голос: «Витя, ты совсем не бережешь себя... Разве можно так сильно огорчаться по пустякам?» Взволнованный, он опустил ноги в шлепанцы и осторожно, чтобы не разбудить жену, в темноте направился на кухню. Открыл холодильник, выпил залпом стакан боржоми. Волнение его не проходило. Тогда он решил позвонить Славикову, хотя время для телефонных звонков было не самое подходящее. Одно его успокаивало Славиков ложится поздно. К тому же это был единственный человек, с которым Виктор Михайлович делился без остатка всеми своими мыслями и сомнениями. Пятнадцатилетняя разница в возрасте не мешала им дружить. Профессорский голос был ясен и чист – Славиков, конечно же, еще не спал. Виктор Михайлович принялся сбивчиво объяснять неясную причину своего позднего звонка. Потом спросил, закуривая, отыскивая глазами пепельницу: «Ты слушал мое выступление?» – «Слушал. Министров, забывших о Боге, ты призываешь к гражданственности, но Бог говорит с тобой голосом твоей матери и не дает тебе спать. Опомнись, как может человек быть или стать начальником, если у него осталась хоть капля совести?» – «Матвей Пантелеевич, ты прости меня, я тогда погорячился...» – «Я уже забыл о том. Проснуться среди ночи, звонить, просить прощения – это ведь подвиг для такой важной персоны, как ты. Ладно, теперь тебе все равно не уснуть. Так что езжай-ка лучше ко мне, если хочешь основательно потолковать». – «Прямо среди ночи? Что обо мне подумает Света?» – «Не могу знать, что о тебе подумает твоя Света – она завтра сама тебе скажет об этом. Да ты не волнуйся – жены министров, в отличие от жен ученых, спят крепко. Она даже не узнает, что ты уходил куда-то среди ночи...» – Славиков шутил, не щадя самолюбия друга. «Можешь ставить чайник, я вызываю машину». – «Зачем тебе служебная машина, когда на улице можно поймать такси?»

Мать Виктора Михайловича быстро нашла общий язык с профессором. Она восхищалась им, называла божьим человеком. Когда она бывала в Москве, Славиков обязательно приглашал их к себе в гости. Виктору Михайловичу сначала казалось странным, что его малограмотная мать находит о чем поговорить с профессором и они подолгу толкуют о всякой всячине. «Возможно, сближают их те беды и несчастья, которые выпали на долю всего их поколения», – размышлял он, наблюдая, как, общаясь с его матерью, этот известнейший ученый на глазах превращается в обыкновенного колхозного деда...

Бывая с Виктором Михайловичем в деревне, профессор по своему обычаю вставал рано, с удовольствием гулял по окрестностям и возвращался в избу только тогда, когда старушка с Виктором Михайловичем уже поднимались из-за стола, напившись утреннего чая. Однажды они засиделись за чаем дольше обычного. Мать жаловалась сыну министру на бездорожье, говорила, что поля загажены химией, что земля скудеет. Виктор Михайлович по поводу плохих дорог и всего прочего заметил в какой-то надсадной, близкой к цинизму, веселости: «Мама, ты не волнуйся – из Москвы видны все ухабины и овраги России». Мать не приняла шутку: «Если из Москвы все видно – наведите же в России порядок! В деревнях совсем народу не осталось: колхозы разваливаются, люди уезжают черт знает куда – разносит их по всей стране. Вон наши ребята и девчонки уехали кто в Казахстан, кто в Сибирь. Только не верю я, что они строят там красивую жизнь»

Вон соседский Петька книгу читал о Сибири. Знаешь, как там называют людей, приехавших в Сибирь? Архарами! И боятся их как огня! Разве для того мы, русские женщины, рожали вас, поднимали из нищеты и голода, чтоб вы и сами спивались, и других спаивали?»

Сын не перебивал мать, видя глубину ее негодования. Тут-то и появился профессор.

«Слышал ваши слова, Елизавета Святославовна, и прошу прощения за вторжение в вашу беседу. Я так думаю, человек – это самое хищное существо природы. И птицу в небе, и зверя на земле, и рыбу в воде – все уничтожил человек. Что ж, теперь осталось одно – начать есть друг друга».

Старушка согласно кивала головой. Эрудированный профессор стал приводить примеры злодейства, жестокости, которые чинит природе человек. Он затронул древние предания о Христе, Мухаммеде, стал говорить о революции семнадцатого года. Старушка с удовольствием прослушала лекцию Славикова.

«Дай Бог тебе доброго пути, Матвей Пантелеич, – стала она благодарить профессора. – Я-то, темная, вижу все, да словами не умею выразить. – Она задумчиво посмотрела вдаль и сказала слова, которые надолго запомнились Виктору Михайловичу. – Слаб человек, Матвей Пантелеич, потому и подгоняет его нечистая сила к мелочности, бессмысленности, жестокости. А эти, в креслах своих, словно на тронах сатанинских, – разве сильные они, мудрые? Вся их мудрость в заднем месте. Потому что заднее это место об одном думает – как бы стул свой сберечь! Поклонились бы природе, земле-матушке, авось хоть чуток, а поумнели бы».

Славиков лишь звонко рассмеялся в ответ.

Сам, когда ему Виктор Михайлович сообщил, что умерла мать, спросил, сколько ей было лет. «Девяносто три», – ответил Буслаев. «Что ж, она пожила свое, – дежурно вздохнул Леонид Ильич, – дай Бог нам до такого возраста дотянуть». Стало ясно, что «личная тема» на этом исчерпана: он тут же снова взял деловой тон. «Времени, времени у вас в обрез!» – все твердил и твердил.

На похороны Буслаеву пришлось ехать под большим секретом. В сущности, его унизили, его оскорбили. Был он человеком грузным (когда садился в свою черную «Волгу», она заметно наклонялась вправо), и было странно видеть слезы на глазах этого могучего человека, когда он, захлопнув дверцу, тихо сказал шоферу: «В Сосновку. К матери». Он в сердцах стукнул себя по колену большим кулаком. «Она пожила свое!» Сколько равнодушия в этих словах!

Похоронили ее рано утром, потому что ему тут же надо было трогаться обратно, чтобы успеть к селекторному совещанию. Жена осталась, чтобы помянуть покойницу на седьмой день. Всю дорогу он продумывал детали предстоящего селекторного совещания. Он старался забыть о тех горьких мыслях, которые мучили его всю ту ночь, когда он мчался, чтобы в последний раз взглянуть на мать. Но эту ночь и этот начинающийся ясный солнечный день после похорон матери он запомнил на всю жизнь...

«На Синеморье мне трудно будет выбраться, поверьте, Кахарман Насырович, а вот указания я уже дал. Все ваши требования, – Буслаев говорил тепло, приветливо, – будут выполнены; здесь я даю гарантию. А у отца вашего я прошу прощения. Кланяйтесь ему и обязательно это ему передайте».

На другой день, завершив все свои дела у начальника управления Иванова, Кахарман дал телеграмму в аул. Эта обнадеживающая депеша имела немало-важное значение для рыбаков, ведь настроение у всех было подавленное, люди продолжали уезжать.

Черный «газик» ехал по тряской степной дороге. Шофер оказался разговорчивым парнем, «травил» всякие смешные истории из своей жизни, чем развлекал Игоря и Болат, Кахарман же дремал. Очнулся он, когда «газик», карабкаясь по песчаному увалу, вдруг заглох, покатился назад и встал. Задние колеса его глубоко увязли в песке. Кахарман открыл глаза. Шофер выскочил из машины, громко хлопнув дверцей.

«Приехали?» – Кахарман стал протирать глаза спросонья.

«Всего лишь застряли в песке», – рассмеялся Болат.

«Ерунда, подналяжем все – и выскочим!» – Шофер сказал это с надеждой, после чего сел за руль и стал выжимать сцепление. Он терзал машину, но она не трогалась с места.

«Давайте подтолкнем», – Кахарман первым вышел из машины. Игорь и Болат последовали за ним. Все вместе они уперлись и стали толкать, кряхтя от натуги. Но машина по-прежнему не трогалась с места.

«Лопата есть?» – обратился Кахарман к шоферу.

«Инструмент у меня в порядке: и лопата, и топор. Сейчас веток нарубим, бросим под колеса – иначе не выбраться... – Он вылез из машины и в ту же секунду попятился: – Всем в машину! Быстрее!»

Кахарман оглянулся, не понимая, в чем дело. Растерянно озирались и Болат с Игорем.

«Одичавшие собаки! – крикнул шофер. – Быстрее всем в машину!»

На пригорке, метрах в ста, действительно показалась стая собак. Увидев людей, она стремглав бросилась к ним. Кахарман едва успел захлопнуть дверцу. Собаки с размаху бросились на капот, взобрались на крышу автомобиля.

«Ружье есть?» – обратился Кахарман к шоферу. Усталости как не бывало, он чувствовал себя собранным, энергичным.

«В спешке оставил, как назло», – с досадой ответил шофер.

«Плохо дело...» – задумавшись, проговорил Кахарман. Он лихорадочно сообщал, что же сейчас, в такой ситуации, можно предпринять.

Одна из собак тем временем уставилась на людей. На ветровое стекло стекала слюна из ее пасти.

«Практически эти собаки уже превратились в волков», – Кахарман в первое мгновение от неожиданности отпрянул назад.

«Игорь, обрати внимание – какой пронзительный взгляд. Прямо давит на психику...»

Собака, оскалившись, зарычала, стала сильно бить по капоту лапой. Два облезлых, голодных пса, встав на задние лапы, стали заглядывать в машину сквозь боковое стекло, со стороны шофера. Особенно неистовствовала рыжая сука с обрезанными ушами – она билась мордой о стекло, и вскоре все стекло было забрызгано слюной. Кахарман нажал на клаксон.

«Включи мотор, – приказал он шоферу. – Дай газу... Всякое мне приходилось встречать, но в такой идиотской ситуации я впервые...»

Собак совершенно не испугал ни гул мотора, ни рев клаксона.

Рыжая сука показала Кахарману знакомой. «Чья же это собака? У кого я мог ее видеть?» – соображал он. Тем временем по непонятной причине собаки все как одна задрали ноги и стали мочиться на смотровое стекло. Кахарман от негодования и злости лишь сплюнул. По крыше тоже ударили струи – это мочились собаки, сидевшие там. Затем все они спрыгнули с машины и неспешно стали уходить в степь. «Уж не Сырттан ли это? – осенило Кахармана вдруг. – Конечно, Сырттан отцовский пес!» Кахарман чуть приспустил стекло и закричал вслед стае:

«Сырттан! Сырттан!»

Рыжая сука остановилась, постояла и потрусилась за стаей. В машине нестерпимо пахло мочой. Мужчины повыскакивали наружу.

«Оба баллона прокусили», – сказал шофер, наклоняясь к колесам.

Кахармана мутило от вони, он отошел в сторону, опасаясь, что его может вырвать. Игорь и Болат не могли прийти в себя от увиденного. Кахарман, утираясь носовым платком, бросил сердито шоферу:

«Что баллоны! Ты лучше подумай, какое мы пережили унижение – на нас уже собаки мочатся!»

Игорь и Болат рассмеялись – ситуация выглядела несколько комически.

Игорь хлопнул Кахармана по плечу:

«Ты готов жизнью поплатиться за свою гордость, знаем тебя. Было бы лучше, если бы они разодрали нас на части?»

«Неужели никого не задевает, что среди бела дня на головы четверых мужчин помочились жалкие, бродячие собаки? – не в шутку разозлился Кахарман. – Если об этом кто-нибудь узнает – с нами перестанут здороваться!»

Шофер, забыв об испорченных шинах, смеялся вместе с Игорем и Болатом.

До западного побережья озера они добрались уже поздним вечером, когда рыбаки ставили палатки и готовились к ночлегу. Незадачливые путешественники рассказали рыбакам о своих приключениях – рыбаки, как и следовало ожидать, тоже засмеялись. Есен подбрасывал в огонь новые и новые порции хвороста, пламя вспыхивало с удвоенной силой, освещая веселые лица рыбаков, лица их поздних гостей. Луна, вынырнув из туч, далеко озаряла молчаливо дремлющую степь.

«Давайте-ка все на боковую... – предложил Камбар. – Завтра рано вставать...»

Все зашевелились, разминая затекшие суставы, потягиваясь, и стали разбредаться к палаткам. Вдруг вдали послышались какие-то ужасные вопли. Кахарман вздрогнул, вглядываясь в светлую степь. Она как будто бы вся шевелилась от множества бегущих ондатр.

«Тронулись искать новое место», – заметил Есен.

«Разве они так кричат, когда меняют место? – удивился Камбар. – По-моему, они чувствуют какую-то опасность...»

Кахарман вспомнил свои разговоры с начальником рыбацкого хозяйства Балхаша. С горечью тот жаловался Кахарману, что вода в Балхаше падает из-за того, что построили Капчагайскую ГЭС, что в озере исчезает ондатра. Свою лепту в череду бедствий Балхаша внес и небывалый пожар, случившийся лет десять назад. Он спалил много растительности в этих местах. Река Или вся перегорожена, мелкие водоемы пересохли – неудивительно, что по всем этим причинам ондатровое хозяйство на Балхаше разрушается.

«Когда мелеет вода, – рассуждал шофер, – ондатры большими стаями перебираются в новые места: но не так лихорадочно они это делают, как сейчас...»

Вскоре стал слышен лай диких собак, он приближался.

«Есен, дай-ка мне ружье», – приказал Кахарман.

Есен бросился в шалаш и протянул Кахарману пятизарядную винтовку, добавив: «Оружие Мусы стреляет без промаха».

Жалобный писк ондатр, душераздирающие вопли этих маленьких, беззащитных животных терзали сердца людей.

Наткнувшись на рыбаков у костра, животные метнулись было назад, но тут же снова бросились к людям, совсем близко от себя услышав собачий лай. Они растерянно метались в ногах рыбаков, ища укрытия и защиты, – Кахарман отчетливо чувствовал икрами судорожное подергивание их маленьких тел. Совсем недалеко от людей собаки раздирали ондатр. Кахарман прицелился в одного из псов, спустил курок, но промахнулся. На мгновение собаки замерли, как будто бы испугавшись выстрела.

«Их не так просто напугать», – проговорил Камбар.

«Людей они не боятся, – включился в разговор шофер. – Собственными глазами видел в Калмыкии, как они перерезали стадо сайгаков».

Кахарман внимательно следил за той матерой собакой-волком, в которую не попал с первого раза. Она не лезла вперед, как другие собаки, держалась позади других. «Осторожная – видимо, вожак», – понял Кахарман. Ондатры жались к человеческим ногам и не думали убежать от людей. Их, бедных зверьков, было сотни полторы.

...Как-то на рыбалке Кахарман заметил в воде плывущую ондатру. Она показалась ему странной: плыла неуклюже и была крупнее обычных своих размеров. «Смотри, какая вымахала!» – воскликнул Кахарман, обращаясь к Володе, который стоял рядом. Володя улыбнулся: «Э, Кахарман Насырович, это вовсе не ондатра – это дикая собака. Она ищет нору ондатры. Если волки и лисы поджидают зверьков у входа в нору, то смотрите, как охотятся собаки. Видите – собака уже в норе».

Кахарман направил лодку к берегу. Он решил с близкого расстояния понаблюдать за действиями собаки. Пока их лодка маневрировала, дикая собака уничтожила пять зверьков. «Сейчас это самый страшный враг для ондатры, – развел руками Володя. – Собаки здорово наловчились охотиться за ними».

Зайдя рыбакам за спину, вожак притаился: он готовился для прыжка. Кахарман, держа вожака на прицеле, выждал паузу и нажал курок. Грянул выстрел. Вожак, встреченный пулей на лету, кувыркнулся в воздухе и упал, подвернув под себя морду. Потеряв вожака, стая растерялась. Рыбаки стали расстреливать собак почти, что в упор. Стая бросилась врассыпную – вместе с вожаком осталось лежать еще несколько псов. Другие были ранены – они удалялись, подвывая, повизгивая, заметно отставая от стаи. Кахарман с рыбаками бросились им вслед, чтобы отогнать их подальше, – стая скрылась в степи. Почувствовав себя в безопасности, зверьки оставили рыбаков и продолжили свой путь.

Утром рыбаки обнаружили, что место вокруг их палаток усыпано тельцами мертвых ондатр. Осмотрели и собак. Кахарман подошел к мертвому вожаку и сразу признал в нем одного из тех псов, что мочились на ветровое стекло. Знакомая рыжая сука, валявшаяся чуть поодаль, была еще жива. Она медленно открыла глаза и посмотрела на подошедших людей.

«Это же собака Насыр-аги!» – воскликнул Есен.

Но прежде Есена ее узнал Кахарман. Он, как и вчера, позвал рыжую: «Сырттан! Сырттан!» Собака безошибочно остановила глаза на Кахармане, заскулила, поползла к жожаку и попыталась лизнуть ему лапу. «Сырттан!» – еще раз позвал Кахарман. Она уронила голову и, не открывая глаз, зло оскалилась в ответ.

...Когда разгрузили баржу, Кахарман дал команду разворачиваться. Снова надо было отправляться к песчаному карьере на другом берегу. Эта работа повторяется изо дня в день. По течению буксируют полную баржу – и налегке идут против течения. На реке нет буйных ветров Синеморья, нет высоких, опасных волн – нет и сурового секретаря обкома, никто теперь не требует от Кахармана выполнения плана по ловле рыбы.

Некогда мощный, полноводный, а ныне обмелевший Иртыш продолжает жить тихой, неприметной жизнью, не будорожа в человеке сильных чувств, а словно бы усыпляя его, словно бы ласково, ностальгически шепча человеку шорохом своих мелких волн: «Все прошло, все прошло...»

Кахарман никак не мог свыкнуться с однообразием своих дней, с монотонной обыденной работой.

– Опять заскучали, капитан? – вывел Кахармана из задумчивости голос Ладова. – Ей-богу, нехорошо это... Хотя, с другой стороны посмотреть, – вам, морскому волку, речные волны должны казаться пустой, никчемной игрушкой. – Не знающий уныния Ладов улыбнулся: – Давайте ка я встану к рулю...

– Что может сравниться с морем! – в сердцах воскликнул Кахарман и, чуть устыдившись некоторой неуместности своего пафоса, уступил место Ладову. Поднялся на палубу и как бы продолжал разговаривать сам с собой. «Эх, Ладов, Ладов... Море ни с чем не сравнимо, так и знай. Море – это загадка, море – это опасность и риск. И вместе с тем море – это радость, которой никто еще не подыскал названия; и вместе с тем море – это счастье, которое еще никто не объяснил. Да и зачем давать названия, Ладов? Зачем что-то объяснять? Надо просто родиться и жить у моря... и все-все чувствовать, Ладов. Вот такие дела, Саша...» Вечером, после последней ходки, команда поднялась в контору за зарплатой. Ладов и Кахарман отправились на пляж, что был недалеко от порта. Вошли в воду. Ладов, широко выбрасывая руки, поплыл к середине реки и уже издалека, обернувшись, крикнул:

– Чудесная вода, капитан!

Кахарман медленно поплыл следом. Очутившись в воде, он по-другому стал ощущать реку. Хоть и обмелел, оскудел Иртыш, но течение у него все еще было сильное. Ноги Кахармана задевала мелкая серебристая рыбешка, почти мальки.

Синеморье... Раньше его называли Великим морем, а как его называть сейчас? Мертвым? А вот в Иртыше, наверное, все-таки жива еще своя Ата-Балык. Да не каждому дано ее увидеть. Она может показаться на глаза лишь тому человеку, у которого чиста совесть, прекрасны помыслы и совершенны дела. Увидит ли ее когда-нибудь еще он, Кахарман? Кто знает. А вот отцу его, Насыру, который всю жизнь прожил на море, она, наверно, много раз показывалась и, может быть, даже говорила с ним. И рассказывала, наверно, ему о своем одиночестве.

...Что же удивительного в ее одиночестве: ведь и таких людей, как Насыр, совсем мало осталось на свете, честных, совестливых, благородных. Таков ли ты, Кахарман? Таков ли...

Вернулись они с Ладовым только к ужину, который собрали ребята. Сидя за столом, Кахарман никак не мог оторваться от своих прежних мыслей о том, что как-то наперекосяк пошла его судьба. А теперь еще это пристрастие к спиртному... Вот она, свобода! Какой Бог, кроме напитка, способен даровать человеку такую свободу! И ведь Синеморье Кахарману теперь тоже не в укор, хотя было ведь время, когда выпивохи в его родных местах и за людей-то не считались! И как этот народ за такое короткое время втянулся в эту пагубную пьяную воронку? Дошло до того, что люди теперь стыдятся приглашать к себе в гости, если нет возможности выставить на стол спиртное. Ни одна свадьба, ни одно застолье не обходится без пьянки. А также ни одно дело: «Не подмажешь, не поедешь». Стыд и срам. Никто уже не помнит редкого, отважного примера – примера охотника Мусы. Однажды он сказал Кахарману: «Стоит мне выпить хоть бы глоток этой гадости, конь чувствует: всхрапывает гневно, не подпускает к себе. Плетешься до дома пешком, никак невозможно сесть на него, даже если хитростью пытаешься взять – подойти с подветренной стороны. Вот и думаешь: наверно, Богом проклята эта дурная вода! Вот отец твой Насыр все твердит, что нет большего горя на свете, чем война. А мне кажется, что эта штука страшнее войны. Кого она утянет – тот помирает мучительной смертью. Нет же – теперь и в рот не возьму! Род Сансызбая слов на ветер не бросает!»

А было это в начале далеких пятидесятых. И с тех пор Муса действительно капли в рот не брал! Вот ведь какая сила воли! Вот какая боязнь греха, вот какая совестливость оказалась в человеке! Да только много ли таких людей вокруг! Дожили до того, что «пей не пей – все равно помирать!» Но если человек не боится греха, не знает совести – он же способен превратиться в бесчувственное животное! Как этого не понимают люди?

Матросы давно уже заметили, что капитан даже на общем застолье бывает невесел, неразговорчив, углублен в себя. И они не мешали ему – заводили свой неторопливый разговор...

«А ведь эти соображения, эти упреки в первую очередь я должен адресовать самому себе. Начни с себя – так сейчас говорят. Но я действительно люблю этот кратковременный миг свободы от своей душевной боли, я люблю эти минуты веселого забытья – как же мне быть? Неужели и все вокруг оправдывают себя таким образом? Но разве кого-то можно всерьез уверить, что все беды нашего века не от человека, а от Бога либо обстоятельств? Неужели свойства и качества, что копились веками, можно растерять за какие-то семьдесят лет? Ужасы века – голод, геноцид, две мировые войны, атомная угроза, тотальное оскудение природы – ни в одном из прошлых веков человечество не знало таких осознанных злодейств. Кичась успехами цивилизации, люди постепенно приходят к жизни, которая, пожалуй, будет страшнее средневековой или первобытной... А оправдать... оправдать все можно!...»

...Пустая баржа теперь шла вверх, против течения – они делали вторую ходку. С ними поравнялось судно капитана Мальцева. Из всех его щелей летел хриплый голос Высоцкого:

Кровью вымокли мы под свинцовым дождем –
И смирились, решив: все равно не уйдет!
Животами горячими плавил снег!
Эту бойню затеял не Бог – человек!
Улетающих – влёт, убегающих – в бег...

Баржа Мальцева уходила по течению вниз, увозя с собой и голос Высоцкого. Ладов проговорил:

– Никак не могу я вот что понять, Кахарман Насырович. На кой черт мы перевозим эту гальку? Ну, сейчас мы ее вычерпаем, а кто ее будет потом возвращать реке?

Кахарман не спеша закурил и после молчания заговорил:

– По-другому это называется грабеж. Эта галька никогда не будет возвращена реке – смешно ломать над этим голову. В стране дураков существуют совершенно простые ответы на самые сложные вопросы. Грабежом и разбоем занимается наше ведомство. Пароходство должно перевезти за год двенадцать миллионов тонн этой гальки. Тонна ее стоит сейчас двадцать две копейки. То есть сегодня мы растаскиваем ее по двадцать две копейки, а завтра даже за двадцать два миллиона невозможно будет восстановить. Этот ущерб будет исчисляться астрономическими цифрами. Каждый год мы выгребаем со дна эти миллионы тонн, а вода упала в Иртыше уже на два метра... И погоди – это только цветочки...

– Ягодки уже тоже имеются – нет теперь на Иртыше ни пляжа приличного, ни лодочной станции. На их месте сейчас ил...

– У этой трагедии не будет названия, Саша... Мы просто лишимся дара речи, когда увидим ее в полном объеме!

Вертя в руках пустой стакан, он подумал: «И тогда будет уже поздно, когда государство наконец-то спохватится. Мы не оправдаемся перед нашими детьми – никакой Бог не простит нам наших тяжких грехов. И ничего не ждет нас, кроме проклятия! Это проклятие я чувствую уже сейчас – потому так безрадостны дни мои сегодняшние, так чего уж говорить о будущем...»

– Недолго я здесь задержусь, – сказал Кахарман. – Проторчал два года на Балхаше – что там творится, Бог мой! Все то же самое, что и у меня на родине. Приехал сюда – и здесь то же! Иртыш, в сущности, полуживой, бьется в предсмертных судорогах. Скоро от него ручеек останется, и экскурсоводы будут рассказывать: вот здесь десять лет назад, товарищи, протекала великая сибирская река Иртыш... Нет сил смотреть! – Кахарман стукнул кулаком по столу. – Надо уезжать! – Помолчав, он грустно улыбнулся и сказал заплетающимся языком: – Я с каждым годом становлюсь смешнее и смешнее, как Коркут баба...

Эту легенду Ладов не раз слышал от казахов. Ну и удивительный же был человек, этот Коркут баба! Никто так сильно не любил жизнь, как он, музыкант с кобызом. И никто не был так наивен, как он. Подумать только! Он полагал, что люди умирают потому, что на свете существуют могильщики и существует земля, в которой они роют могилы. И всякий могильщик – то ли в шутку, то ли нет – отвечал ему, когда он спрашивал, для кого роют могилу: «Говорят, есть на свете музыкант с кобызом – для него и роем». Много земель обошел Коркут, и везде ему могильщики отвечали одно и то же: для Коркута.

Тогда он бросил в Сырдарью ковер и поплыл на этом ковре по течению. Он сильно тосковал, он понимал, что теперь ему не вернуться к людям, не вернуться на землю, потому что на земле живут могильщики. Он днем и ночью играл на своем кобызе прекрасные, волшебные мелодии о жизни, о любви и счастье. И заслушивались люди по берегам, и печально махали ему руками. Наконец ковер вынесло в море. Его светлые песни полюбили и рыбы, и чайки, и даже сама Ата-

Балык заслушивалась ими. Много лет, как только поднималось из-за горизонта солнце, брал в руки Коркут кобыз и начинал играть. Выплывала Ата-Балык, слушала и спрашивала:

«Много печали в твоей музыке, Коркут. Откуда эта грусть? Что гнетет тебя?»

«Эх, Ата-Балык, – обычно отвечал Коркут, – жизнь – это вечная печаль. Как же веселиться мне, если я знаю, что рожден для того, чтобы однажды умереть?»

«Значит, нет в жизни радостей?»

«Мало радостей, зато много страданий».

«Так отчего же ты боишься смерти? Разве она не избавит тебя от страданий?»

«Как ни горьки страдания, Ата-Балык, но жить хочется, а умирать страшно».

«Тогда не умирай, Коркут! Твоя музыка нужна здесь, в этом мире, хоть и полон он страданий».

«Да благословит тебя царь всех вод – Сулеймен, Ата-Балык! Да услышит он твои слова и примет мою печаль близко к своему сердцу!»

Однажды Ата-Балык спросила музыканта:

«Говорят мне, что ты не спишь ни днем, ни ночью, Коркут. Правда ли это?»

«За мной следит Всевышний. Он только того и ждет, чтобы я заснул. Как только я усну, он выкрадет из меня душу и унесет на небо...»

И так ответила ему Ата-Балык:

«Пока я с тобой, не бойся ничего. Спи, я буду стеречь тебя».

И Коркут поверил могущественной рыбе – и стал с тех пор спать. «Какое это блаженство – сон!» – восхищенно думал он.

Однако всем известно, что не бывает на свете людей, которым удается избежать своей участи. Смерть все-таки следовала за ним, как ни печально ей это было. Да, да – дело в том, что она очень жалела Коркута и всячески оттягивала это роковое мгновение, когда взмахнет она над ним своим крылом. Частенько Всевышний упрекал ангела смерти Азраила в излишней доброте к Коркуту, но ничего не мог поделать с собой Азраил – он следовал за Коркутом по пятам и наслаждался игрой его кобыза. Азраил часто возражал Всевышнему так:

«Если забрать душу этого гения – что станет с его волшебной музыкой?».

«Разве гений его не моих рук дело? Разве не я распоряжаюсь его жизнью?» – отвечал творец.

«Но зачем же ты создал его отличным от других людей? Зачем же ты не отпустил ему два жизненных срока – разве гений не достоин того?»

«Я не делаю исключения и для гениев. В конце концов, он не Бог, а всего лишь двуногое существо... Лети быстрее на землю и доставь сюда его душу!»

И полетел Азраил к Коркуту.

Коркут проснулся на своем ковре в холодном поту и понял, что разговор творца и ангела всего лишь приснился ему. Но не в таком он был уже возрасте, когда люди легко отмахиваются от снов.

«Коркут баба, – сказал он себе, – твоя смерть ходит где-то рядом, встретить же ее с достоинством».

Так сказал он себе, умылся морской водой, прочитал утреннюю молитву и взял в руки черный кобыз. И заплакал кобыз, едва пальцы Коркута коснулись его струн. И увлажнились было глаза музыканта, но усилием воли Коркут сдержал

слезы, чтобы не увидел Азраил его слабости. Ата-Балык плыла рядом, подталкивая красный ковер.

Кобыз пел о том, как слаб, немощен человек, но как безмерна, бесконечна жизнь, которую он оставляет. Коркут, не признававший ислама, а до последнего своего часа поклонявшийся лишь огню, вдруг наяву увидел этот яркий свет. Но не сразу понял он, что за огонь зовет его к себе – не сразу догадался, что не огонь это, зажженный человеком, а лик солнца, поднимающегося из-за горизонта. И тогда вздрогнул он и подумал: сегодня, когда небесное светило на закате коснется линии воды, мое старое тело, на протяжении девяноста шести лет наслаждавшееся жизнью, станет холодным трупом.

Но странное дело! Чем надрывнее плакал черный кобыз, тем светлее становилось лицо старца. Его сердце, казалось бы бесчувственное, оттого что радость в нем часто сменялась печалью, все больше и больше теплело, и мигом потеплевшая душа сама стала с нетерпением рваться к небу. Его сердце говорило:

«Стыдись! Не унижай себя неблагоприятной любовью к жизни – ведь жизнь так скоротечна! Разве ты не устал? Разве ты не хочешь отдохнуть? Не жалея о ней, ведь впереди у тебя вечное блаженство – ты теперь никогда не будешь думать о смерти, теперь ты будешь счастлив навеки. Время безжалостно здесь, на земле, – для него все равны. А там его просто не будет – разве это не блаженство: никогда не думать о времени! Торопи земную смерть, Коркут, – с ее наступлением ты будешь рожден заново, для новой жизни...»

И тогда Коркут, воздев к небу руки, прошептал сквозь счастливые слезы:

«Смерть, иди ко мне!»

В это самое время змея, посланная Азраилом, вползла ему на грудь, и яд ее мгновенно проник в кровь старца. Кобыз выпал из его рук, и Коркут умер. С печалью приветствовал его Азраил:

«Добро пожаловать, святой Коркут! Да обретет твоя душа покой в раю!»

И черный туман пал на море – черный морок пал на море. Море буйствовало, вздымая гигантские волны. Это заметалась Ата-Балык в глубинах – тоска вдруг пронзила ее. Она металась по морю в поисках красного ковра, в поисках друга, но душа святого старца уже покоилась в небесах...

От смерти не спастись, ее не избежать,
 Когда б ты мог себя и львом среди львов считать.
 Захочет Бог-звезда сорваться вдруг с небес –
 И рухнет, чтоб у ног осколками сверкать.
 Жигиты, верьте мне – над нами Бог велик,
 Пускай ему хвалу возносит наш язык,
 Коркут на сорок лет свой возраст пережил,
 И все ж в конце концов скончался тот старик.
 Закрыл глаза старик – и замерли ветра.
 Так и жигит умрет. Так молнии игра
 Большое дерево порой испепелит
 В единый только миг. Куда как смерть быстра.

С тех пор стали ходить слухи, что тоскующая Ата-Балык часто зовет к себе душу Коркута: говорят, что порой душа Коркута в самом деле нисходит с небес и подолгу беседует с могучей рыбой.

– Да, я уеду с Иртыша. Коркут баба бегал от смерти, а я буду бегать от мертвой воды. Боюсь только, всюду станет преследовать меня эта мертвечина... – снова проговорил Кахарман.

– А куда бежать мне? – в тон ему ответил Ладов. – Говорят, хорошо там, где нас нет. Глядя на вас, Кахарман Насырович, я думаю: ну, брошу я родные места, что это изменит? – Он замялся. – Не принимайте на свой счет, пожалуйста, мои слова.

– Ты близок к истине, хоть и неприятно мне это слышать. – Кахарман поднялся. – Давай собираться. И ребята пусть готовятся...

И снова им навстречу баржа Мальцева. И снова рвет душу хриплый голос Высоцкого:

Сыт я до горла, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
И позывных не передавать...

Айтуган и дети уже сидели за столом – ждали отца к ужину.

– Не хотят есть без тебя, – улыbnулась Айтуган, чувствуя, что Кахарман снова приуныл, да к тому же от него явственно пахнет винцом. В такие минуты она старалась отвлечь его от мрачных мыслей, и это ей часто удавалось: по своей природе была она женщиной чуткой, мягкой, порою даже податливой, и не без преднамеренности. Ибо умная женщина отличается от глупой еще и тем, что умеет дать почувствовать мужчине, что он в доме хозяин – тот хозяин, к мыслям которого прислушиваются, внутренний мир которого – вроде бы невидимый, но, хрупкий и ранимый, становится таким же значимым, как и события внешнего окружающего мира.

А разобраться – Айтуган тоже приходилось несладко. Она терпеливо сносила все жизненные невзгоды, но в душе у нее, конечно же, было беспокойно, тревожно. Вот уже полтора года, как они жили в Семипалатинске – ютились в маленькой комнатке в одном из барачков. Как-то Айтуган напомнила Кахарману: «Ты говорил, что к этому лету решится с квартирой. Не узнавал?» – «Узнаю...» – ответил Кахарман без особого энтузиазма, и Айтуган поняла, что просить и унижаться он не будет. С тех пор она о квартире не заикалась. Носить из колодца воду ей помогают дети. После Синеморья и Балхаша она никак не может привыкнуть к здешним морозным зимам с пронзительными ветрами. На автобусных остановках ветер прохватывает насквозь – и сама она, и мальчики прыгают словно мячики, чтобы хоть как-то согреться. Потом входят в заиндевевший автобус и целый час в этом морозильнике едут из школы – она одна казахская на весь Семипалатинск – домой, на другой конец города. У них здесь ни родных, ни близких. И хоть была она в хороших отношениях с коллегами на работе, однако ни с кем не сошлась близко. Все ее сотрудники, кроме того, живут в центре города – не больно-то наездишься к ним в гости из Затона. И к себе их неудобно пригласить – неужто в эту крохотную комнатку в барачке? Невольно ей приходилось общаться только с одним человеком – женой Якубовского Марией. Однако Айтуган не унывала, не впадала в отчаяние, понимая, что если расклеится и она, то жизни у них с Кахарманом не будет.

Впрочем, Кахарман и сам не мог привыкнуть к Семипалатинску.

После морских волн, морского простора Иртыш казался ему блеклым, обыденным. Лишь постепенно он стал отдавать себе отчет, что не следует море сравнивать с рекой. На реке ли или на море родился человек, но и море ему может показаться тухлой лужей, если оно ему не родина: и река ему может чудиться бесконечным морем, если он рожден на ней. Кахарман припоминал тоскливые вздохи своей матери:

«Увидеть бы снова Иртыш, сыночек, ведь я родилась там... Поехать бы в Чингистау, поставить юрту на Жидебае и зажечь как много лет назад...» Он тогда обиженно думал:

«Как же можно бросить наше море – наше голубое, наше доброе море?»

Теперь он понял многое.

Однажды Якубовский, отправляясь по делам в Чингистау, пригласил с собой Кахармана, помня его слова о том, что это родина его матери. Кахарман согласился с радостью.

Случилась эта поездка осенью, в ту пору, когда путник, созерцая однообразные пейзажи увядшей степи, впадает в уныние. Только в горах Орды им улыбнулась зелень, которую почему-то пощадило знойное лето. Якубовский и Кахарман повеселели. Над зелеными лугами вдалеке парили голубые вершины Чингистау. Вскоре они были на Жидебае, у памятника Абаю. «Здесь родилась моя мать», – тихо проговорил Кахарман.

И все-таки здешние окрестности казались невзрачными и скудными, особенно по сравнению с тем далеким временем, когда здесь жил Абай. Говорят, Жидебай был тогда цветущим краем, богатыми были его сочные луга и зеленые пастбища. Кахарман долго стоял у памятника и у могилы Шакарима.

Осень. Тишина. Запустение...

В Жидебае их встречал секретарь райкома Гафез Матаев. Заметив, что Кахарман подавлен, он стал утешать его.

«Это места зимовий Абая, его джайляу находятся дальше, в горах. Уверю тебя, Кахарман, там есть на что посмотреть – райские места! Можно было бы и сейчас подняться в горы, пожить в юрте, да холодно, время к зиме идет. В Чингистау надо летом приезжать».

«То есть ты нас приглашаешь на следующее лето?» – спросил Якубовский.

«Да, но я и сейчас могу вам кое-что показать. Вы слышали о пещере Кобыраулие? Это место считается святым. Хворые люди ночуют в ней ночь две, и с ними, как рассказывают, иногда случаются чудесные исцеления».

«Это та пещера, которая описана в романе «Абай»?» – спросил Кахарман.

«Совершенно верно! – ответил Гафез. – Так что едемте!»

По местам Абая они ездили три дня. Слушали рассказы старожилков – они были красноречивы, пели красивые песни, слушали кюи. Это и в самом деле был чудесный уголок казахской земли – старинный, сохранивший многие древние народные обычаи.

Гафез настроил старинную домбру и плавным грудным голосом запел печальную песню Абая. Горестные слова слились высокой мучительной мелодией:

Измучен, обманут я всеми вокруг,
 Меня предавали и недруг и друг.
 Среди близких и дальних почти не найти,
 Кто б не был причиною горестных мук.

Один – из-за выгод приятель тебе.
Споткнешься – покинет в неверной судьбе,
скажет тогда: «Я такой же, как он».
И рядом не встанет в неравной борьбе.
На честного тысячи плутов кругом, –
Как тут в одиночку бороться со злом?
Распутство и пьянство повсюду царят,
О дружбе, о пользе нет мысли ни в ком.
К заслугам, к летам – уважения нет,
Стяжатели вылезли гордо на свет.
За деньги все рады позорить и чтить,
Мгновенно в любой перекарасишься цвет.

И в той же юрте чабана, недалеко от Коныраулие, впервые Кахарман не утерпел, и сам спел песню-жыр, которую много раз слышал от Акбалака:

Как часто под старым, в заплатках седлом
Есть конь, что назваться бы мог скакуном.
Среди старых стрел ты найдешь, может быть,
Таковую, что в силах кольчугу пробить.
Встречай подходящих с открытой душой,
Но помни: среди них может быть и такой,
Что, смуты любя, наш нарушит покой.
Ой, люди, вы – шакалы,
Так надо вас звать.

Гафез был необычайно растроган: «Никогда бы не подумал, Кахарман, что у тебя может быть такой выразительный голос!» Растроган был и Якубовский. Он пылко проговорил: «Какой же все-таки емкий, точный народный язык: казахский ли это, русский ли...» – «Втолковал бы это ты нашим бюрократам», – усмехнулся Кахарман, припомнив запрещающий окрик инструктора отдела на заседании республиканского ЦК, когда он начал свое выступление на казахском языке. Ярость после окрика заклокотала в Кахармане. Тогда он, еле сдерживая себя, демонстративно стал говорить о положении дел на побережье по-английски. «Идите к своему министру, мы вас не можем принять!» – замахал инструктор руками. Кахарман собрал свои бумаги и вышел. Шагая по длинному коридору, он жалел об одном: о том, что не знал английских ругательств.

По возвращении домой он был вызван в обком к первому секретарю.

«Ты что, спятил? – набросился на него Алдияров. – Чего ради ты решил в ЦК выступать на казахском языке? Ты что – националист?»

«Что же это получается? – ответил Кахарман. – Если я говорю с казахами на казахском языке – это национализм?»

«Надо уважать товарищей из ЦК, Насыров! Твоя строптивость доконает тебя!»

«Кожа Алдиярович! Вот сейчас мы с вами хорошо изъясняемся на казахском. Ни вы меня, ни я вас не считаю националистом. И друг друга, кажется, мы уважаем вполне».

Алдияров помолчал и ответил: «Мы с тобой в своем кругу – совсем другое дело. На этот раз прощаю, а в следующий раз, товарищ Насыров, придется положить партбилет вот сюда!»

И он постучал маленьким, сухоньким кулачком по столу, который был совершенно свободен от каких-либо бумаг. Потом подошел к окну и отвернулся. Это означало, что прием окончен.

Кахарман понимал – теперь очередь за ним. Лев, как говорится, прыгнул. До этого Алдияров хитрым маневром избавился от Акатова. Ему с первого дня не понравился новый председатель облисполкома, который быстро стал уважаемым и любимым человеком в городе. Ни одной жалобы он не оставлял без внимания, никогда не отделивался от людей отпиской или отговоркой. Алдиярову достаточно было одного лишь звонка в Алма-Ату... После этого Акатов был назначен на пост республиканского министра. Повышение? Как бы не так... Провожая его в столицу, Алдияров насмешливо похлопал Акатова по плечу: «У нас всегда ценилась молодежь, за ней будущее». Акатов снял руку секретаря со своего плеча: «Мне трудно бросать этот край, когда он в таком положении. Я намеревался искренне и честно работать здесь...» Алдияров прервал его: «Не мы все это решаем, а Центр. Вот ты и едешь в этот самый Центр, надеюсь, там по достоинству оценят твою искренность и честность...»

Из юрты послышался голос чабана – постель была готова. В это самое время грохнул взрыв. Земля под ногами Кахармана пошла ходуном.

«Это на полигоне! – Якубовский сплюнул в сердцах. – А ведь совсем недавно митинговали люди на встрече «Невада – Семипалатинск!»

«К чертовой матери надо гнать ту власть, которая не считается с мнением народа!» – тоже выругался Кахарман.

Чабан сказал: «Они всегда взрывают в это время, перед самым рассветом. У нас недавно здесь – всего в пяти километрах отсюда – после взрывов образовалось озерцо. А место здесь живое – здесь богатые джайлау двух местных совхозов. Три отары овец, попив этой воды, погибли – сдохли овцы, не отходя от водопоя, прямо на берегу. А мои овцы облезли к вечеру – все как одна! Мне говорят – будем сдавать на мясо. А я думаю – чего с этим мясом будут делать? Неужели людей посмеют кормить? – Чабан повернулся к Якубовскому: – Мы будем есть баранину, а баранина будет есть нас?»

Иван сердито ответил: «А кого же – зверей, что ли, кормить станут?! Человек наш – ничего, он съест, он все съест, что ни дай, – так уж мы воспитаны...»

Чабан покачал головой: «После этого случая как-то волки задрали трех моих овец и сдохли сами – поехал к соседу и увидел их вон за тем пригорком. – Чабан показал в темноту. – И хоть бы одна ворона села на них! Нет – кружить кружат, а никак не садятся: чуют – отравлены.»

«Это что! – воскликнул горько Матаев. – Расскажи людям о своей семье – пусть узнают, что здесь у нас творится!»

Чабан помолчал, потом сказал: «Чего уж тут рассказывать. Кто теперь поможет моей беде – Правительство? Бог? – Он взглянул на Кахармана. – Вы не видели моих детей? Сейчас они спят вон в том флигельке. Старший сын в этом году закончил школу и... – голос его дрогнул, – ...и повесился. В нашем районе это не первое самоубийство. Вешаются, стреляются – в основном молодежь... Дочке моей четырнадцать лет, а росту в ней всего пятьдесят восемь сантиметров – дальше

не растет. В совхозе много таких, а по району около сотни. Младшенькому семь лет – родился со сросшимися ногами. Дебил он...»

Чабан сказал это, понизив голос, чтобы не слышала жена, которая как раз в это время вышла из юрты. Кахарман был поражен рассказом.

«Какой ужас! Какие мы варвары, если так безжалостно истребляем свой народ! Здравствуй, наше светлое будущее, коммунизм! Ты не за горами – ползем к тебе на карачках, прихватив с собой всех уродцев карликов, дебилов со сросшимися ногами, всех отравленных своих детей, – здравствуй!»

Он так и не уснул за эти два часа, которые оставались до утра. Выехали они рано. Но дети чабана уже встали. У Кахармана не хватило мужества оглянуться на них – два уродца возились в глубине двора, издавая какие-то странные, прихлюпывающие звуки. Он быстро отвел глаза, полные слез, и поторопился в машину.

– О чем задумался, Кахарман? – отвлекла его от мыслей Айтуган.

– Помнишь, я тебе рассказывал о том чабане, с Чингизтау? – ответил Кахарман. – Снова он мне вспомнился...

Однако Айтуган понимала, что мучает Кахармана не только это. Она была терпелива, не лезла к нему в душу с расспросами – полагала, что муж сам поделится с ней в ту минуту, которую сочтет нужной.

В дверь постучали. Вошел Якубовский, и маленькая комната, вместившая в себя тучного, неуклюжего человека, стала еще меньше.

– Айтуган, я буквально на минутку, у меня еще масса дел. Привез письмо от Саята. Почему-то он отправил его на мой адрес. – Он протянул Кахарману конверт. Кахарман углубился в чтение, а Якубовский с сожалением развел руками: – Айтуган, милая! Никак у меня не получается с квартирой: тянут и тянут, черти! Горсовет в этом году не выделяет пароходству ни одной. Ей-богу, не знаю, куда глаза от вас прятать...

– Ничего, Иван, подождем, – стала успокаивать его Айтуган. – Одно плохо: далековата казахская школа, а все остальное можно перетерпеть...

– Да уж конечно, – виновато улыбнулся Якубовский, – ничего другого не остается... – Он вдруг хлопнул себя по лбу. – Ребята, совсем забыл! Ведь рядом с этой школой есть у нас барак – там освобождается три комнаты. Хотите, перебирайтесь туда? Комнатки, правда, не ахти какие, такие же маленькие, но все-таки их три.

– Это же здорово! – Айтуган даже покраснела от волнения. – Конечно, переедем, какие тут могут быть вопросы!

Кахарман вложил прочитанное письмо в конверт.

– Те три комнаты получает мой помощник Саша Ладов, ты что – забыл? – спросил он.

– А он пускай въедет сюда!

– Нет, Ваня, так некрасиво получается. У него тоже двое детей...

– Для Ладова это даже удобнее. Ближе к работе, детский сад через дорогу...

– А ты говорил с Сашей?

– Меня только что осенило! Я с ним поговорю, ты не волнуйся...

– Ты просто не в курсе. Он собирался перевезти сюда тещу из под Рязани. В деревеньке шесть старушек и один старик. Ей там совсем худо. Раньше он заботился о них – недавно помер.

Айтуган отвернулась. Кахарман осторожно положил ей руку на плечо:

– Давай не будем карабкаться по спинам других. Так ведь любое счастье бедой обернется. Я работаю в пароходстве всего два года, а он ждет восемь лет. И ты, Ваня, не разменивайся на пустяки. Мы же видим, что не все в мире зависит от тебя. – И он сменил тему, чтобы сгладить неловкость, воцарившуюся между тремя взрослыми людьми: – Привет тебе от Саята, и тебе, Айтуган, поклон. Наш Саят теперь в должности – начальник большой плавбазы. Зовет к себе на Каспий. – Он сделал жест Якубовскому, предлагая выйти на улицу. Шофер синей «Волги», дожидавшийся своего начальника, включил зажигание.

– Подожди, еще не скоро, – Якубовский махнул шоферу рукой и обратился к Кахарману: – Нам увеличили со следующего года план по гальке до 18 миллионов. В связи с этим разрешают открыть собственную плавбазу. Есть мысль назначить тебя начальником. Так что пиши отказ Саяту – пусть не задирает нос!

– И ты думаешь, что я соглашусь? Ты что, не знаешь, как я отношусь к этому грабежу среди бела дня?!

– Никогда не слышал этого от тебя!

– А потому, что никогда не спрашивал! Мы на грани того, что погубим эту реку! Конечно, не надо никакого напряжения мысли, чтобы так варварски пользоваться ее богатствами – ни расчетов тебе, ни проблем; бери да черпай миллионами! А что будет завтра? Завтра мы будем тратить миллионы на то, чтобы все сделать как было! Да и то, если это будет хоть в какой-то степени возможно. А если окажется, что не осталось у нас ни единого шанса?

– Да разве я не понимаю этого? – расстроился Якубовский.

– Ты перед начальством стоишь руки по швам – не верю я, что ты понимаешь!

– Между прочим, – обиженно возразил Якубовский, – наше пароходство заработало на гальке сотни миллионов рублей!

– Заткнись ты об этих миллионах, слышать не могу – тошно! Это все бумажки, а не деньги. Но если ты так свято веришь в них, ответь мне, какая польза от этого хотя бы пароходству?

– Никакой. Все практически уходит в госбюджет.

– Конечно! Чиновники в министерствах тоже хотят жрать – и не ту вонючую колбасу за два двадцать, которую мы видим с тобой раз в месяц, а совсем другую, хотя и за ту же цену. А не разумнее ли было бы половину этих денег использовать на восстановление реки? Кто же будет возвращать ей долги – ты посмотри, какая она разграбленная, нищая!

Якубовский снова помрачнел и заметил:

– Кстати, ты знаешь, что эта галька добывается без какого-либо предварительного проектирования вообще? Просто однажды было сказано: давай, ребята, чем больше – тем лучше...

Кахарман опешил.

– Чему ты удивляешься? И так по всему побережью Иртыша – и в Омске, и в Томске, и дальше! Грабят кто как может...

– А ты не грабь, товарищ Якубовский! – тихо проговорил Кахарман, задыхаясь от гнева.

– Если не я – то другой будет грабить. Не я граблю – система грабит!

Они сели на скамейку, отвернувшись, друг от друга, и долго молчали.

– Поеду я, – вяло проговорил Якубовский. – У меня вечерняя планерка...

– Подожди, Ваня, – придержал Якубовского Кахарман. – Я принял решение. Здесь оставаться я больше не могу. У тебя отличный участок, ребята тоже хорошие, и город неплохой – но так жить я больше не могу. Я, в конце концов, не безмозглая скотина, чтобы не думать о том, чем я здесь занимаюсь!

– И куда ты собрался? На Каспий?

– Пока не знаю. Когда решу, сообщу.

Якубовский уехал, Кахарман остался сидеть на скамейке. К нему подседа Айтуган.

– До школы три дня, а от Бериша нет и нет вестей. Я уже начинаю волноваться...

– Будет тебе Бериш... – Кахарман вдруг впервые за сегодняшний день улыбнулся тепло и приветливо. – Я дважды уронил нож – верная примета, скоро он будет. – И он обнял жену.

Стало прохладнее – заметно сгущались сумерки.

– Зови мальчишек ужинать.

Айтуган встала и ушла в дом.

– Папа, смотри, кто идет! – вдруг вскрикнул младший и стремительно рванулся навстречу.

К бараку быстрыми, энергичными шагами приближался Бериш. За его плечами был рюкзак.

– Коке! Здравствуйте! – сказал Бериш.

– Сынок! Бериш! – растроганный Кахарман обнял сына, на него дохнуло родным запахом Синеморья. Младшие липли к Беришу, перекрикивая друг друга. Айтуган выскочила из дому и тоже бросилась к Беришу.

– Мам, ты приготовь чего-нибудь, – наконец выговорил Бериш, освобождаясь от поцелуев и объятий. – А я пока пойду окунусь... По Иртышу соскучился...

Младшие увязались за ним. Айтуган энергично принялась собирать на стол.

– «Приготовь чего-нибудь», – повторяла она слова сына сквозь радостные слезы. – Совсем взрослый стал, боже мой. – Далекая туманная улыбка блуждала на ее лице. – Подумать только, таким это басом говорит: «Приготовь чего-нибудь»...

Вскоре снова сели ужинать. Бериш на каждый вопрос отца о родителях, о море, о жизни в Карае и Шумгене отвечал рассудительно, обстоятельно, что слегка сместило Кахармана. Зато Айтуган смотрела на сына почти что набожно; немой восторг был написан на лице матери – впрочем, тоже забавный.

– Бабушка часто болеет, – рассказывал Бериш. – Из города тетя приезжала, опять повезет ее в горбольницу. В ауле почти что никого не осталось, Коке. – Бериш помолчал, собираясь с мыслями. – У дяди Мусы дикие лошади сманили иноходца. И сивая наша чуть было с ними не ушла, спасибо, дядя Муса вовремя это заметил, стал стрелять и отбил...

– Как же он теперь без своего иноходца?

– Так. Потерял покой. Отправился за табуном, хочет отбить. Только вряд ли ему это удастся. Говорят, что эти табуны теперь ушли за Балхаш. Его байбише каждый день ходит к нам, вздыхает, говорит: Бог с ним, с этим треклятым меринном, лишь бы сам вернулся живым...

– Как дед? Не болеет?

– Дедушка здоров. Но теперь он не такой, как раньше. Все время молчит и о чем-то думает. Молится по пять раз на день – я уже и со счета сбился. Говорит – будет в море вода, будет! Папа, это ведь невозможно?

– Разумеется, невозможно. Но пусть он верит. Это помогает ему жить. Вера – это великая вещь, Бериш. Еще какие новости?

– Новость еще такая. Теперь у нас работает лаборатория. Руководит ею дядя Игорь. Профессор Славиков передал через него дедушке и бабушке индийский чай и конфеты.

– Что за лаборатория? – чуя недоброе, встрепенулся Кахарман.

– Они называют ее «лаборатория по наблюдению за гибелью моря».

– Значит, наше правительство все-таки пожертвовало морем! – воскликнул Кахарман и надолго замолчал. Вскоре он, пряча глаза, полные слез, вышел из дому. Наступило время укладываться. Кахарман, лежа в постели, долго ворочался с боку на бок. У него не шла из головы новость, которую привез Бериш.

«Варвары! – думал он. – Самые настоящие варвары! Они думают, что живут на земле последний день. Подождите, море еще отомстит вам!»

Наконец утомленное его сознание стало проваливаться в сон. Ему снова снилось море. Снился остров Керым, снилась тихая заводь, где обычно собиралась крупная рыба.

Он сразу увидел Ата-Балык. Она двигалась тяжело, была до последней степени исхудалой. Рядом плыла другая рыба – Ана-Балык – рыба-Мать, тоже худая и изможденная. За ними тянулся косяк. И чем ближе подплывал этот косяк, тем страшнее становилось Кахарману. Плотное скопище не рыб, но каких-то уродливых существ надвигалось на него. Это были твари с двумя или тремя головами, со сросшимися хвостами, без привычных плавников, с уродливо увеличенными глазами и туловищем. И было непонятно, куда движется этот косяк, было непонятно, в самом ли деле во главе этого косяка движется Ата-Балык или, помыкаемая скопищем этих тварей, она плывет сама не зная куда. Глаза Ата-Балык были красные, безвольные, запавшие. Может быть, это были последние минуты ее жизни, ибо вдруг – и сердце Кахармана недобро дрогнуло – она медленно-медленно, но неотвратимо стала погружаться – и следующие за ней рыбины вдруг заметались тревожно, мелькнула пасть черно-бурого сома...

Приснился ему и отец. Мулла Насыр, опустившись на колени, шептал молитвы на белом мертвом берегу. Он был худ, изможден, как Ата-Балык. И совершенно сед.

«Отец... – позвал его Кахарман. – Отец!...» Старик, стоявший на коленях прямо, не обернулся. «Отец! Синеморье!.. Отец!...»

...Все это грезилось Кахарману ранним утром, когда Айтуган была уже на ногах. Женщина замерла у постели мужа.

«Отец... – звал Кахарман. – Отец, обернись... Ты ведь жив еще, отец...»

Айтуган присела рядом и стала гладить руку мужа, тихо шепча:

– Успокойся, Кахарман... Успокойся...

«Отец... – бормотал во сне Кахарман и всхлипывал. – Зачем ты молишься? Какому Богу ты молишься? Все пропало, отец, слышишь ты?!»

Старый рыбак смотрел вдаль и молчал.

«Ответь мне, отец!»

«Молчи, сын! – вдруг зашептал, не оборачиваясь, Насыр, и было в этом шепоте неистовство, поразившее Кахармана. – Не кличь беды, она у порога! Молись!...»

«Да где же он, этот Аллах? – закричал Кахарман. – Зачем он мне нужен, если все потеряно?!»

«Чтобы остаться человеком, сын мой!...»

IX

Стали приходиться в упадок и рыбацкие селенья по побережью Синеморья. Среди других, кто не трогался с места – а их осталось мало, – были, конечно, Насыр и охотник Муса. Некуда было ехать и сумасшедшей Кызбале с ее верной собакой. Не трогалась с места и Жаныл с сыном Есеном. Рыбакам было непривычно жить – рыбы в Синеморье почти не стало, ехать за добычей в далекие экспедиции, как это делала бригада Камбара, многие не хотели. Кто-то взялся пасти скот, другие принялись кормиться землей. Для них это было лучше, чем бросить на произвол судьбы могилы предков и податься в чужие края.

Лишь в Шумгене все было более или менее благополучно. Отсюда уехало всего лишь несколько дворов, так что на фоне общей печальной картины этот главный поселок выглядел получше других. Исправно шумгенские рыбаки продолжали выезжать на Каспий, Балхаш. Выезжали они также в Чардару, Торгай и Ыргыз. Так с миру по нитке кое-как дотягивали они до плана, выполнение которого требовалось с прежней неукоснительностью. У себя же дома – зимой – отлавливали рыбу в запрудах, построенных еще Кахарманом. Рыбаки, казалось, стали свыкаться со своей невеселой долей, ведь продолжалось это уже около десятка лет...

Мало об этом задумывался за своими болезнями старый жырау Акбалак, лежа у теплой печи. К нему из Караоя переехала одна из дочерей с зятем, и хоть был теперь за ним хороший уход, болезнь все же не отступала.

Ночами он мерз, даже лежа у печи, а днем не было никакого желания выходить на солнцепек. Он грелся и дремал, дремал и снова грелся. Иногда он испуганно вскакивал, садился, подобрав под себя ноги, – ему за дремой вдруг чудилось, что он уже умер. В такие минуты он торопливо брал в руки домбру и начинал наигрывать, перескакивая с одной мелодии на другую.

В эти дни с Акбалаком случилось событие, сильно всколыхнувшее его душу. У него было утешение – молодая рыжая кобыла, за которой он ухаживал увлеченно, словно мать за малым дитем. Недавно ее увели с собой дикие кони...

Разлучник – огненный поджарый жеребец – смело вошел во двор и, будто бы чувствуя, что слабый, немощный хозяин не окажет ему серьезного сопротивления, нагло пританцовывая, приблизился к кобылке. Жеребец в мгновение ока разорвал сильными молодыми зубами привязь кобылки и стал кружить возле нее...

У Акбалака, с восторгом наблюдавшего эту сцену чужой любви, ноги будто бы приросли к земле. Жеребец увлек ее за собой и за калиткой победно ударил несколько раз копытом о землю. Табун нетерпеливо заржал, призывая новобранцев под свои крылья, и тут же рванул с места.

Босой Акбалак метался по дому, торопливо разыскивая свои калоши. Лошади к тому времени были уже на окраине аула. Гладкие их спины в лучах заходящего солнца отливали золотом, гривы и хвосты вздымались на ветру. Акбалак стал звать кобылку – он несколько раз выкрикнул ее имя. Та обернулась, придержав бег. Но что ей был голос слабого, немощного хозяина – впереди ее ждала вольная, новая, молодая жизнь. Жеребец стал ее подталкивать, торопить. И тогда она громко и протяжно заржала – и сердце старого Акбалака вздрогнуло, и вся его одинокая душа рванулась к ней. «Прощай! Прощай!» – пробормотал он и заплакал. Сквозь чистые, скупые слезы – словно бы он превратился сейчас в ребенка – он видел на фоне большого багрового диска свою любимицу и алого жеребца.

«Неповторимая, прекрасная картина! – думал Акбалак, потрясенный увиденным. – Сколько нежности, сколько свежести было в их любви!»

И звуки мелодии, вызревание которой он чувствовал давно, вдруг обрели стройность, законченность и стали проситься наружу. Акбалак поторопился в дом, живо настроил домбру, и через мгновение мелодия явилась вся, до последнего звука – будто бы готовая жила где-то до этой секунды и лишь теперь нашла Акбалака. Давно об этом хотел рассказать Акбалак музыкой своей домбры, часто ему в воспоминаниях виделись волны моря, не раз испытывающие судьбу всякого рыбака, часто слышался их грозный рев. Не забыло его лицо и заботливого прикосновения ветра на острове Корым – этой нежной колыбели их с Карашаш любви. Играй, домбра, играй! Вместе с Акбалаком и тебе никогда не забыть милую Карашаш: вот она, юная, счастливая, ступает в лодку; вот она обратила лицо к младенцу, которого кормит грудью. Вся жизнь Акбалака со всеми ее земными тяготами, со всем ее земным счастьем отразилась в этой последней мелодии, сочиненной старым жырау. Играй, домбра, играй! Он, Акбалак, еще не умер; еще стучит его сердце, еще видят глаза. Но сегодня ему был знак – это не молодая кобылка простилась с ним, это жизнь простилась с Акбалаком... Об этом тоже пела домбра в руках Акбалака: прощай, жизнь, прощай, жизнь...

Акбалак, обессилевший, положил домбру на колени и откинулся, прикрыв глаза. Да, прощай, жизнь. Невесело с нею прощаться, но что же поделаешь?

В последнее время, чтобы скрасить свое одиночество, он не раз думал, что хорошо бы позвать в гости старых своих друзей: Насыра и Мусу. Наконец он отправил за ними зятя, но тот привез только Насыра. Мусы, как всегда, не было дома. На этот раз он рыскал по пескам в поисках своего вороного иноходца. С тех самых пор, когда увел его за собой дикий табун, Муса не оставлял надежды разыскать своего красавца, время от времени возобновлял поиски.

Насыр с первого взгляда понял, что дни Акбалака сочтены. Он молча взял руку старого жырау в свои ладони. Горечь и сожаление были написаны на лице Насыра, он подумал о том, что судьба охотнее разлучает людей, чем соединяет. После обычного приветствия дочь Акбалака принялась накрывать на стол, а Акбалак между тем объяснил, почему он послал зятя за Насыром:

– Насыр, видишь сам, до конца мне осталось совсем немного. Уж ты не сердись, что оторвал тебя от дел. Никого, кроме тебя и Мусы, у меня не осталось. Даже родные дети не ближе мне, чем вы. Не думай, что я выжил из ума или мучаюсь бездельем, послушай мою просьбу. Она последняя. Ты должен завтра повезти меня на остров Корым, в последний раз я хочу побывать на море...

Он умоляюще посмотрел в лицо Насыру и, очевидно прочитав в нем сомнение – выдержит ли старый и больной человек неблизкую дорогу, – опередил его вопрос:

– Не сомневайся, я не помру в дороге. Тронемся рано утром, к закату будем на месте. Переночуем – и обратно. У меня есть слова, которые я давно готовился сказать тебе. Я скажу их в море.

Дочь и зять, видя, как решительно настроен Акбалак, поняли, что старика отговаривать бесполезно. «Благослови, Аллах, наш путь!» – подумал Насыр, а вслух произнес:

– Нельзя не повиноваться вашему желанию, Ака. Я тоже давненько не был на острове – значит, завтра же выезжаем...

Ранним утром они были на берегу. Зятю Тобагабылу тоже хотелось отправиться вместе с ними, но Акбалак рассудил по-своему:

– Встретишь нас на машине, когда вернемся. А с нами отправится Шортанбай.

Шортанбай спустил на воду лодку и запрыгнул в нее. Кахарман в бытность свою директором отправил в институт документы на нескольких толковых ребят. В число понравившихся Кахарману парней попал и Шортанбай. Он учился в Одессе, сейчас у него наступили каникулы, а через несколько дней он должен был ехать на Каспий отрабатывать практику. Он никогда не был на дальнем острове Корыме, о котором много слышал, так что предложение стариков пришлось очень кстати. Он был любопытен и тут же спросил Насыра, показывая на воду:

– Насыр-ага, вода совсем не волнуется, лежит, можно сказать, пластом... Отчего это так? А ведь дует ветер...

– Слишком много соли в воде, сынок, – она тяжелая, как свинец.

Насыр взял направление к Корыму и, когда вышли в открытое море, доверил руль Шортанбаю. А сам поправил подушку под головой Акбалача и спросил, не надо ли ему чего.

– Как легко дышится, Насыр! – воскликнул Акбалак. – Сильно же я истосковался по морскому воздуху! Зачерпни воды, я умоюсь...

Насыр стал прислушиваться к царапающим звукам – это плотные водоросли задевали дно лодки. Они раздражали его – буйные, неестественно зеленого цвета. Но чем дальше они уходили в море, тем реже слышались эти звуки. Вода становилась прозрачнее, стало хорошо просматриваться дно. Насыру вдруг показалось, что под лодкой промелькнула большая рыбина – во всяком случае, он отчетливо различил ее тень. В самом деле – большая, исхудавшая рыба вскоре оказалась совсем близко от лодки, и Насыру почудилось, что он увидел шрам на ее голове.

– Шортанбай, сбавь-ка скорость, – приказал он.

Да, теперь он совершенно отчетливо различил на голове рыбы шрам – он узнал в ней ту большую рыбу, которая когда-то перевернула его лодку. Он схватил весло со дна лодки, изготовился, но она нырнула под лодку и теперь показалась с левого борта. Насыр видел ее исхудавший хребет – в сущности, это был скелет, обтянутый блестящей чешуей. Глаза ее и рот были прикрыты. Вдруг Шортанбай удивленно вскрикнул:

– Насыр-ага, белуга, что ли?

Насыр посмотрел по правому борту. В самом деле, это была белуга с выводком. Эти мелкие рыбешки напоминали во многом осетрового малька, но признаки уродливой мутации ошарашили Насыра. Мальки были одноглазы, и единственный глаз этот располагался на самой макушке. «Вот и рыба уже перерождается», – с ужасом подумал он и зло сплюнул.

Глаза Акбалача по-прежнему были прикрыты, он молчал. Солнце припекало все крепче, усиливалась жара. Вскоре открыл глаза Акбалак, но отвернулся от Насыра, не отрываясь смотрел на воду.

Насыр хотел было рассказать ему о виденной белуге и одноглазом выводке, но передумал – на сердце у старого больного жырау и без того было, наверно, тяжело. Но осторожничал Насыр зря. Услышав крик Шортанбая, Акбалак очнулся и увидел эту редкую теперь для Синеморья белугу и одноглазых ее детенышей. Но тут же снова смежил веки.

Уж сколько лет изо дня в день, отравленные отходами химических заводов, обе Дарьи несут ядовитые воды в море. Оно давно уже бессильно само очиститься от вредных веществ – оно такое же бессильное и беззащитное, каким сейчас, на закате жизни, был Акбалак.

Его тоже объял ужас, когда он увидел этих мальков, когда представил, как чудовищны и омерзительны будут они через некоторое время, превратившись в крупных особей. Ему было больно, но он не удивился. Ибо вспомнил, что несколько лет назад нечто непонятное произошло с его собственной коровой – у животного выросли бивни, похожие на слоновьи.

– Насыр, – проговорил Акбалак, не отрывая взгляда от воды, – ты мулла, ты человек, который доверительно разговаривает с Богом. Ты столько лет говоришь с ним о нашем бедном море, но воды у нас не прибавляется...

Насыр ответил не сразу:

– Ака, ты всю жизнь подсмеивался над Аллахом, над муллами и хаджи... Как-то у нас с тобой не получалось серьезного разговора о создателе; думаю, что и сейчас не получится.

Акбалак негромко рассмеялся.

– Потеснили люди твоего боженьку, Насыр, залез он обоими ногами в один сапог. Он там сидит себе на небе и ничего еще не понял. А люди уже в космос летают, совсем не спрашивая его, можно или нельзя...

Насыр, по-прежнему соблюдавший пятикратные молебны, заучивший назубок слова Корана, в последнее время тоже не мог отделаться от сомнений. Если у Аллаха есть глаза, неужто же он не видит, как умирает Синеморье?

Однако Насыр сказал:

– Не будем богохульствовать. Сколько бы человек ни летал в космос – ему Аллаха не потеснить...

– Если действительно существует Аллах, я бы хотел сказать ему пару крепких слов за то, что посылает такие беды на человечество...

– Ты же не веришь, что Аллах существует!

– Не верю, в общем-то. Да иногда думаю: а вдруг он все-таки есть, а я умру и ничего не скажу ему.

Насыр рассмеялся:

– А себе, Ака, ты ничего не хочешь сказать? Только человеку свойственно видеть недостатки других и не замечать собственного несовершенства – истинная правда! Нет, Ака, давай не будем трогать Аллаха. Давай лучше поговорим о людях – вот они как раз заслуживают того, чтобы попасть под твой острый язык. Я не сомневаюсь, что несчастья на земле творятся не Аллахом, а людьми. Допустим, Аллаха нет. Но можешь ли ты объяснить, откуда берется та дьявольская сила, которая толкает людей к плохим поступкам, которая сбивает их с пути истины и справедливости, добра и разума?

– В человеке борются три силы. Первая – это его доброта, его человечность. Вторая сила – это лев, готовый к борьбе, к нападению. А третья сила – мерзость, склонность ко лжи. Эта сила похожа на свинью.

– А эта сама свинья не есть ли дьявол, Ака?

– Может быть. Люди зачастую превращаются в безмозглых свиней, я давно в этом убедился. Животные намного добрее душой, разумнее. Нам, людям, ох как далеко до них...

– Верные слова, Ака. – Насыр встрепенулся. – Я давно их ждал от тебя... – Теплое чувство к старцу заполонило сердце Насыра, и ему захотелось поговорить о чем-нибудь простом, человеческом. – Расскажи, Ака, как твою кобылку увел среди бела дня молодой жеребец...

– И вовсе не среди бела дня. Это было вечером. – Акбалак, произнеся это, закашлялся, на лбу его выступили крупные жилы. Вынул платок, приложил его к глазам, на которых появились слезы. Отдышался и попросил пить, потом вернул Насыру пиалу. – Лошади относятся друг к другу с пониманием, с нежностью. Я не стал пускаться за ними вдогонку – их сердца мгновенно прикипели друг к другу, и любовь их уже ничем невозможно было разрушить. Да и грех бы взял я на душу, если бы попытался это сделать. Хорош был этот огненный жеребец – прямо чудо! Ну, какая бы кобыла устояла перед ним?! И я подумал: пусть они долго-долго любят друг друга – благословил их, как детей...

Акбалак посмотрел вдаль – будто бы там, далеко на горизонте, летели кони – и среди них он видел и огненного жеребца, и свою молодую, стройную кобылу...

Когда стали приближаться к острову, опять дно лодки стали облеплять водоросли. Акбалак с жадностью вглядывался в полосу земли – она ширилась, становились четче очертания деревьев. Но и остров, по мере приближения к нему, все больше и больше повергал Акбалака в уныние. Поредели деревья на нем – был он какой-то поблекший, скудный; зеленой чашей посреди синего моря его можно было назвать теперь, разве что закрыв глаза. Да, умирает море – стало быть, всему на свете есть конец. Он, Акбалак, теперь это знает и чувствует как никто другой: он умирает сам. Теперь, на закате жизни, вздумал он взглядеться в свою молодость и видит – поблек остров Корым; даже знакомый саксаул, тогда восхитивший его и Карашаш своей мощью, теперь выглядел поникшим, ослабшим.

Ах, Карашаш, любимая Карашаш! Давно уже нет тебя на этом свете, но и Акбалаку осталось недолго идти земной дорогой. Тело Карашаш осталось на дне моря, а его, Акбалака, похоронят в земле. Но душа его будет витать над морем, вместе с теми чайками, которых сейчас видит он, когда лодка приближается к Корыму. Как знать, может быть, и душа Карашаш тоже летает над морем и томится в ожидании души Акбалака, как знать... Интересно, как они встретятся на том свете? Они, наверно, бросятся друг к другу в объятия и, не разнимая рук, пролетят над островом или останутся на Корыме? Возможно, ее душа нашла здесь себе приют, почему бы и нет?

Тогда... тогда... Акбалак крепко задумался, и его вдруг мгновенно осенило. Он не должен быть похоронен в песках! Его тело должно опуститься на морское дно, как в свое время тело Карашаш. Да-да, как же он до этого раньше не мог додуматься? Вот оно, последнее его желание, которое он выскажет Насыру, выскажет всем своим близким. Именно Насыр должен предать его тело морю: ему-то не надо объяснять, что только так он сможет отыскать Карашаш на том свете.

Пусть это странное решение поначалу отпугнет людей, но потом они поймут, они все потом поймут...

Эти размышления принесли душе Акбалака покой. Он умиротворенно прикрыл глаза. К нему вернулась та мелодия, которую он играл вчера на домбре. И хоть вчера она показалась ему законченной, теперь он понял, что ей не хватало до полного завершения еще одного куска, как раз того, который стал мурлыкать сейчас про себя. Хорошо бы не забыть ее, эту мелодию. Он еще дважды пропел

ее, чуть шевеля губами, качая в такт головой, и только после этого успокоился: все, теперь не забудет...

По мере приближения к острову все чаще и чаще попадались им на глаза мертвые рыбы на поверхности воды. Попадались также мертвые чайки, другие птицы. Потянуло смрадом мертвечины. Две чайки, летевшие за лодкой, вдруг с громким криком устремились на людей.

– Шортанбай, берегись! – крикнул Насыр, поднимая весло и устремляясь к носу лодки. Но одна из чаек успела больно ущипнуть парня за плечо. Вторая чайка чуть отлетела в сторону, испугавшись взмаха весла Насыра. Шортанбай испуганно обернулся – плечо его было в крови.

– Не заглушай мотор! – приказал Насыр. – Сейчас я промою тебе рану...

Птицы стали теперь атаковать их спереди. Они сделали плавную дугу у носа и вновь стремительно бросились на людей. Насыр кричал и размахивал веслом, но та птица, что была крупнее, махала крыльями прямо над головой Насыра – она ничего не боялась. Акбалак стучал по дну ведра, Шортанбай тоже издавал устрашающие крики и размахивал металлическим штырем.

– Осторожно! – испуганно крикнул Акбалак. – Не убивайте их... Не надо их убивать, слышите...

Насыр и Шортанбай молча кивнули. Тем временем чайка покрупнее, увернувшись от взмаха весла, успела схватить клювом рукав Насыра. Рукав затрещал. Насыр быстро сел за руль и поддал газу.

– Что же творится, господи! – взмолился Акбалак. – Это же те самые чайки, которые брали хлеб из рук Карашаш! Теперь они так злобно нападают на людей. Насыр, ну разве это не светопреставление?

Потом он обратился к Шортанбаю:

– Иди-ка сюда, покажи рану...

Шортанбай порвал рубаху на плече и подсел к Акбалаку.

– Ишь как разодрали плечо... Не стоит промывать питьевой водой – зря переводить. Подожди, сейчас проедем это смрадное место, зачерпнешь мне за бортом...

– Кровь не останавливается, – заметил скоро Шортанбай. Тогда Акбалак достал из кармана мешочек, развязал тесемку, вынул маленькие бумажные пакетики с сушеной травой и одной из них посыпал рану.

– Жжет-то как, дедушка!

– Лечебная трава, потому и жжет. Ты потерпи...

В это время Насыр удивленно проговорил:

– Эге, да нас, кажется, встречают. Я вижу людей на острове.

Шортанбай пожал плечами:

– Наверно, отец по рации сообщил.

– Испугался, что нас тут съедят волки и заклюют чайки? – Акбалак был недоволен. – Зачем надо было беспокоить зря людей, как будто у них нет своих дел...

– Там Икор. Он всегда рад с тобой поговорить...

– Я тоже не откажусь. – Недовольство Акбалака прошло.

Вдруг снова послышался крик чаек. Насыр обернулся на звук, но птиц не увидел – солнце било ему в глаза. Тогда он заслонил солнечный свет ладонью и увидел стаю, которая стремительно приближалась к ним. Он оставил руль и бросился за веслом, но чайки камнем упали на людей в лодке и стали их терзать, громко хлопая крыльями. Насыр и Шортанбай неумело, неуклюже размахивали

руками – прятали головы, боясь в первую очередь за глаза. На близком уже берегу, Игорь побежал к мотоциклу за ружьем. Парень и девушка, что были с Игорем, тоже стали кричать и размахивать руками: но птицы не обращали на них никакого внимания. Тем временем Насыру удалось-таки взять в руки весло, а Шортанбаю – штырь. Насыр широко размахнулся и сильным встречным ударом сбил трех птиц. Но другие чайки не дали ему замахнуться еще раз. Они налетели сзади и стали бить крыльями и клювами в затылок. Насыр пошатнулся и упал на дно лодки. Шортанбай тоже потерял равновесие и свалился за борт.

– Не вставайте! Лежите! – крикнул Игорь и нажал на курок. Дробь поразила сразу нескольких чаек. Уцелевшие с пронзительным криком взмыли в воздух. Вокруг стоял оглушительный гвалт – это кричали на воде раненые птицы и те, что отлетели от лодки. Шортанбай стал вползать в лодку, но одна из раненых птиц, вцепившись ему в штаны, тянула его назад.

– Насыр-ага! – вскрикнул Шортанбай, прося помощи. Но Насыр все еще не мог прийти в себя – лежал лицом вниз на дне лодки. Акбалак, дотянувшись ковшем, ударил чайку по клюву. Удар Акбалака был слишком слаб. Глазами, похожими на красные пуговицы – ибо были они налиты кровью, – она пронзительно, зло посмотрела на старика. Акбалак вздрогнул и выронил ковш. Тем временем Насыр пришел в себя и втащил Шортанбая в лодку. Чайка отлипла от штанины Шортанбая, плюхнулась в воду и жалобно вскрикнула перед смертью, дернулась, стихла.

– Грех... Грех-то какой, – сокрушался Акбалак. – Нет, добром все это не кончится, поверьте мне!

– Даже чайки превратились в камикадзе. – Шортанбай снял с себя рубаху и стал ее выкручивать. Насыр молча сел за руль.

– Они возвращаются! – крикнул Шортанбай и стал поспешно натягивать на себя рубаху.

Игорь тоже увидел, что птицы повернули назад. Он вскинул ружье и снова выстрелил. Снова несколько чаек камнем упало в море. Но это не испугало стаю. Они летели к лодке, несколько не боясь размахивающего веслом Насыра. Но на этот раз они не стали атаковать людей. Они просто снизились и, пролетая над людьми, облили их жидким пометом.

Насыр был в тоскливом отчаянье и проговорил, сплюнув за борт:

– Всякое мне приходилось терпеть за семьдесят три года моей жизни, но так меня унизили и опозорили впервые...

Шортанбай, глядя на Насыра, который с брезгливостью осматривал себя и Акбалака, укравшегося с головой, расхохотался.

Акбалак, кряхтя, сбросил с себя накидку, и Насыр с Игорем, взяв его под руки, подвели к большой палатке и положили на сено, загодя приготовленное Игорем.

– Спасибо тебе, – поблагодарил Акбалак Игоря за заботу. – Но все-таки зря Тобагабыл побеспокоил тебя.

Акбалак был растроган тем, что столько людей проявляют заботу о нем.

– Не стоит благодарности, аксакал. Я всегда рад видеть и вас, и Насыр агу...

– Насыр, дай мне попить... – проговорил заплетающимся языком Акбалак. Вытянувшись на душистом сене, он вдруг почувствовал себя разбитым, крайне уставшим. Когда Насыр поднялся к нему с пиалой верблюжьего молока, он уже спал.

Лена тем временем перевязала плечо Шортанбаю, предварительно обработав ранку йодом. Солнце уже садилось, теплая, мягкая темнота окутала остров. Дрова

заготовили впрок, палатки для гостей были разбиты. Насыр оставил молодежь у костра, а сам прилег рядом с Акбалаком.

Молодые говорили тихо, стараясь не разбудить стариков. Лена отбросила косу за спину:

– Никогда не думала, что чайки нападают на людей. Рана, Шортанбай, у тебя серьезная...

Глубокий сон очень скоро Акбалака покинул, уступив место знакомой дреме – странному состоянию между сном и явью, отчасти похожему на бред. Шевеля спекшимися губами, Акбалак стал торопливо бормотать.

«Бесценная моя Карашаи! Вот я и вернулся на остров Корым. Наш с тобой шалаи совсем отсюда недалеко. Завтра с Насыром отправлюсь туда. Карашаи, дорогая! Я стал совсем немощным стариком, скоро я умру. Ты бы не узнала меня, глядя на мое тело. А вот у наших душ, милая Карашаи, нет возраста – они совсем не похожи на наши тела, клянусь тебе. Подумай сама – ведь в противном случае люди не находили бы друг друга на том свете. Нет, на том свете все продумано хорошо...»

Акбалак стих на минуту и заговорил снова.

«Еще тогда, в тридцать седьмом году, когда я тосковал по тебе, когда рвался к тебе, в мне стала зарождаться эта мелодия. Песня о тебе. И вот вчера она вызрела окончательно; видно, это дается свыше. И сегодня я счастлив как никогда. Ибо я понял, что спасло меня. Девятнадцать лет меня на Колыме терзали одиночество и холод, а твоя любовь спасла меня.... Наконец я сложил песню нашей судьбы, нашел единственное завершение для нее!»

Акбалак снова стих. В зыбкой дреме возникало лицо Карашаи. Акбалак весь потянулся к ней.

Карашаи сказала: *«Мы уходим к Аллаху, Акбалак. На земле остается наша с тобой дочь – Алмагуль. Я не могу забыть ее – разве можно забыть единственного своего ребенка? Как у нее складывается жизнь, Акбалак?»*

«Не много у нее счастья, милая Карашаи, но дослушай мой рассказ. У меня было одно утешение: смотреть в огонь и разговаривать с тобой, слышать твой певучий голос. А однажды – это было в Итжеккене в Сибири, где люди ездят на собаках, – я... я...»

Акбалак смолк, потому что к горлу его подступил комок.

«Что было в Итжеккене?» – спросила Карашаи.

«Я убил тебя... Вернее, это было мое оиушение – я видел, что сейчас тебя настигнет смерть, и ничего не мог с этим поделать. А разве ты не становишься соучастником убийства, если не можешь помочь человеку?»

«Как же ты убил меня, Акбалак?»

«Был холодный осенний вечер. Мы валили лес время, от времени подсаживались к костру погреться. Спрятав рваные рукавицы в карман, я подбросил в костер веток. Как всегда, глядя на огонь, я стал разговаривать с тобой. Ты часто приходила ко мне из огня. Но на этот раз я почему-то никак не мог представить твое лицо, твои руки – сколько бы ни звал тебя прийти. Тебя не было. Я уже устал смотреть в огонь, как вдруг неожиданно увидел тебя. Ты выпала из лодки. Ты что-то вскрикнула – мне показалось, что ты позвала меня. Я бросился в костер – но что я мог поделать, Карашаи?»

«Да, – ответила Карашаи, – я звала тебя. Я видела, как ты вскочил. Я видела костер... огонь...»

«Неужели это правда, драгоценная моя?!»

«Да», – просто ответила Карашаи.

«Вечером, когда колонна заключенных возвращалась в барак, мой друг тувинец сказал мне: Акбалак, не смотри так долго на огонь, ты можешь умереть от «тоски». С тех пор я перестал смотреть в огонь. Но не потому, что испугался смерти от тоски, нет...»

«Ты боялся за меня», – сказала Карашаи.

«Да, – ответил Акбалак. – Я стал бояться за тебя. Видно, мы с тобой из того поколения, которому не дано было познать счастье... Ты спрашиваешь про Алмагуль. Если ей дано будет познать счастье, то и мы с тобой хоть немножко, но будем счастливы ее счастьем. Так же мы с тобой будем радоваться успехам Шортанбая – внука нашего. Да только сомневаюсь я, что они будут счастливы. Худые, тягостные времена настали, Карашаи. И печаль, наверно, не обойдет их стороной...»

«Мне пора», – сказала между тем Карашаи.

«Побудь со мной еще немного», – взмолился Акбалак.

«Прощай, прощай...» – слабым движением губ прошелестела Карашаи.

Ее лицо стало растворяться, Акбалак, протягивая руки, вскрикнул: «Карашаи! Карашаи!»

Но руки его уперлись в Насыра.

Насыр лишь вздрогнул, но не проснулся. Он тоже что то стал бормотать в ответ. Беспокоен, тревожен был сон двух стариков Синеморья...

– Ну и как тебе Одесса, Шортанбай? – спросил Игорь. – Как учеба?

– Привыкаю, – ответил Шортанбай, отмахиваясь от комаров. – Следующим летом поедем в загранку, на практику...

– А по Черному морю плаваете? – спросила Лена.

– Ребята с четвертого курса даже в океан выходят на практику...

– Значить, поедете к старику Сантьяго?

– Кто это такой – Сантьяго?

– Ба, в таком случае он тебе отец! – Лена тоже улыбнулась и положила голову на плечо Игоря.

– Я бы гордился таким отцом, – сказал Игорь.

Шортанбай не мог понять скрытого смысла их разговора и лишь удивленно переводил глаза с Лены на Игоря.

Славиков подкинул в костер дров, спросил его:

– Читал ты когда-нибудь такую фразу: «Старику снились львы»?

– Сейчас молодежь не читает, – вмешалась Лена. – Они ничего не знают и знать не хотят, кроме своего тяжелого рока. Так, Шортанбай?

– Старику львы?.. Это Хемингуэй. «Старик и море».

– Ты смотри, в точку попал, – обрадовался Сережа. – А вот наш Самат Саматович недавно отчебучил...

– Подожди, я покажу! – Лена вскочила, встала в позу и заговорила, видимо, подражая Самату Саматовичу: – Я человек дела, человек плана. Какой толк от приснившегося льва? Ох уж эти писатели, совсем они разболтались, как я погля-

жу. Повторить бы им тридцать седьмой год, чтоб знали, на каком свете живут... «Старику снились львы» – надо же! По-моему, полнейшая чушь! Какой смысл заключен в этой фразе?

Все громко рассмеялись удачной пародии, а Игорь приложил палец к губам, призывая к тишине.

– Спят старики, сильно устали... – успокоил всех Шортанбай. – Интересно, а что снится вашему Самату Саматовичу? Думаю, только его кресло да план...

Сергей подмигнул Лене:

– Молодежь-то у нас сообразительная, а ты – «тяжелый рок»...

– Значит, нашей молодежи ура! Ну, как плечо?

– Ноет чуть-чуть. – Шортанбай отмахнулся от вопроса и воскликнул, испытующе глядя на Сергея и Лену: – «О человек, не усни у штурвала!»

– Ну-ка задумайте, молодые ученые! – Игорь одобрительно посмотрел на Шортанбая.

Лена стала сосредоточенно хмуриться.

– Томас Билл. «История кита».

– Нет, кажется, это не Билл. Скорсби? – Сергей вопросительно посмотрел на Шортанбая. – Это из художественной литературы?

– Конечно, из художественной. Из научной книги вам вовек не отгадать, – стал подтрунивать Игорь над своими сотрудниками.

– А вы, Игорь Матвеевич, не будете участвовать в нашей игре? – спросила Лена.

– Он будет судьей, – ответил Шортанбай.

– Дарвин. «Путешествие натуралиста».

– Сережа, запомни, – предупредил Игорь. – Дарвин не писал художественных книг.

– Купер. «Лоцман!» – Лена, сияя, смотрела на Шортанбая, но тот отрицательно помотал головой.

– Близко, – подзадоривал их Игорь.

– Монтгомери. «Перед концом света!»

– Лена, ты все кружишь в девятнадцатом веке. А может, это из двадцатого? Так, Шортанбай?

– Нет, девятнадцатый, – засмеялся Шортанбай.

– Причем американский континент, – добавил Игорь. – Какую еще подсказку вам нужно?

– Приходится констатировать, что ваши научные работники мало читают художественную литературу...

– Чарльз Лэмб. «Победа Кита!»

– Может, это из Хемингуэя?

– Слушайте:

Вот уж снова

К смертельной схватке все готовы,

И яростный Ронмонд занес над головой

Гарпун зазубренный и меткий свой...

– Фолкнер. «Гибель корабля».

– Мне стыдно за вас, мои дорогие МНС. Расширим цитату: «О Боги! Человек, не смотри подолгу на огонь! Не усни за штурвалом, о человек!»

– Вспомнила, Игорь Матвеевич! – Лена вскочила и радостно захлопала в ладоши. – «Моби Дик»!

– Молодец! Я-то думал, это уж безнадежно, – похвалил ее Игорь.

– Ура нашей молодежи, – довольно-таки иронично повторил Шортанбай.

Между тем в небе показалась луна – она только начала подниматься.

– Мы совсем забыли о рыбе, – всполошилась Лена. – Может, она уже готова?

– Еще нет, – успокоил ее Игорь. – Почисть картошки.... А вот стариков пора будить.

Лицо Шортанбая стало сосредоточенным, и он спросил:

– Игорь Матвеевич, что будет с нашим морем, с нашим побережьем? Как настроены ученые? Что они предполагают сделать? Обидно: у нас есть свое море, а практику будем проходить не на Каспии.

– Да, придется вам поскитаться, ребята. Сколько вас учился в Одессе?

– Пять человек. Если б я знал, что положение будет такое безнадежное, я бы еще подумал, поступать или нет мне в училище. Кахарман-ага нас тогда сагитировал...

– Он не желал вам зла, поверьте, – ответил печально Игорь. – Знания тебе в любом случае не помешают. – Он помолчал. – На сегодняшний день судьба Синеморья безнадежна, не буду этого скрывать. Нам должна помочь перестройка. После возвращения Болата поеду в Москву. Нужно подключать прессу, радио, телевидение.

Насыр проснулся от голоса Лены – в ту минуту, когда она вскочила и, угадав название книги, захлопала в ладоши. Он прислушался к дыханию Акбалака. Сон жырау был ровным, дышал он спокойно. Кряхтя, Насыр принялся вылезать из палатки. Увидев диск вокруг полной луны, подумал, что к утру должен быть туман. Нелегко придется Акбалаку, если они завтра не смогут вернуться в Шумген. Игорь и Шортанбай продолжали разговор вполголоса. Насыр подошел к молодежи. На него дохнуло жаром костра, и только теперь он почувствовал, что немного продрог.

– Как отдохнули, Насыр-ага? – улыбнулся ему Игорь.

– Ничего, спасибо за заботу...

– Путь неблизкий, сильно, наверно, устали.

Насыр помрачнел:

– Чайки-то какие, скажи! Чайка, конечно, птица хищная, но впервые вижу, как нападает она на человека... Да уж нечего теперь обижаться – люди, видимо, вполне заслужили такое с собой обращение...

– Дедушку будить, Насыр-ага? – поднялся Шортанбай.

– Не надо, проснется сам. У стариков сон короткий. Приготовь ему у этого дерева местечко помягче, чтобы он мог прислониться...

Игорь вместе с Шортанбаем приняли соорудить удобное сиденье для Акбалака.

– Ты говорил, – обратился Насыр к Игорю, – что виделся с Кахарманом на Балхаше...

– Да. Выглядит он хорошо, а вот настроение у него, мягко говоря, неважноецкое...

– Что, сник совсем?

– Совсем? Нет, Кахарман не из таких людей – он человек сильный. Работа у него неплохая, да и жена Айтуган – просто находка для него.

– Да, невестка у меня золотая. Моя старуха читает ее письма – счастливыми слезами обливается. Айтуган умеет скрыть недостатки мужа и подчеркнуть достоинства... – Насыр помолчал и совсем другим тоном сказал: – Ходят слухи, что Кахарман в последнее время стал много пить. Икор, не скрывай от меня ничего – я не старушка, которую надо щадить.

Славиков растерялся, резкий вопрос Насыра поставил его в тупик.

– Правду говорить тяжело, Насыр-ага. Я могу сказать, да, Кахарман пьет. Но разве это точная правда? Надо ведь обязательно назвать причины... А причины – в обществе, государстве. Как можно уважать порядки, обрекшие на гибель Синеморье? Вот и пьют люди... Кто сейчас не пьет? И я пью. Как можно выжить равнодушному человеку, если не пить? А вопрос, кто меньше – кто больше пьет, это другой вопрос. Кахарман не пропьет ни ум свой, ни душу, не волнуйтесь, Насыр-ага.

– Если бы нашлась на Колыме бочка с вином – я б, наверно, утонул в ней не протрезвев! – послышался за их спинами голос Акбалака.

– Иди помоги встать деду, – велел Насыр Шортанбау.

Наступало время ночной охоты. Недалеко несколько раз ухнул филин, пролетали совы, бесшумно размахивая крыльями.

Игорь взгляделся в лицо Акбалака. Старик был недвижим – некогда жилистый, могучий, красивый, он теперь весь иссох, стал ниже ростом. А как он пел когда-то! Отец часто говорил, что голос Акбалака уникален, что такого певца у казахов больше нет – он последний певец степи. Слушай почаще казахские песни, говорил отец, – и ты быстро научишься казахскому. Собираясь на остров Корым, Игорь прихватил с собой портативный магнитофон, на который когда-то отец записывал пение Акбалака. Акбалак и тогда уже был в преклонном возрасте, но и в те времена его песни были особенно хороши. В них таилась глубокая философская мысль пожившего человека, царила гармония. Сам профессор мог слушать Акбалака бесконечно. Иногда он думал, что, может быть, именно из-за этих песен он полюбил Синеморье и Каспий на всю свою жизнь. Возглавляя отделение Института географии СССР, Славиков частенько снаряжал экспедиции для изучения фауны и флоры озер и морей по всей территории страны. Но сам каждое лето отправлялся на берега Каспия и Синеморья, где и жил обычно до глубокой осени. И хотя сейчас отец серьезно болен и перестал приезжать в эти края, но в каждом письме он настойчиво просил сына прислать сведения о работе синеморской лаборатории, что и делал Игорь – регулярно, исправно, тщательно.

– Принеси-ка мне домбру, джигит, – обратился Акбалак к Шортанбау.

Акбалак взял домбру и стал наигрывать ту концовку мелодии, которая пришла к нему сегодня, потом сыграл всю эту мелодию от начала до конца.

Легкая и светлая вначале, мелодия теперь стала наполняться тихой грустью. Постепенно минорных аккордов становилось больше – и вот они уже заполнили всю канву мелодии, зазвучали трагично, высоко, скорбно...

Да, Акбалак прощался с жизнью – Насыр угадал это сразу. Музыкакой Акбалак сумел поведать многое. Вот раздался тяжелый стон падающего дерева, и это дерево словно бы защемило душу человеческую, замерзшую в колымском аду. Ибо вслед за звуком упавшего дерева домбра закричала пронзительно, одиноко, – так что сердце Насыра сжалось от боли. Потом Насыр стал различать в звуках струн грохоты выстрелов, окрики конвоя, лай овчарок, лязг цепей. Потом на какое-то

мгновение мелодия просветлела – наверно, перед мысленным взором Акбалака явилось Синеморье, с которым он был в разлуке столько лет. Но и у моря сердце Акбалака не перестало страдать. Резко ударил по струнам Акбалак, и Насыр явно слышал жалобный гул умирающего моря. Оно не хотело умирать, оно просило пощады у неба, у человека... Однако что это? Над жалобным стоном моря летит пронзительный крик, он ближе, ближе, он такой жалобный, что, кажется, сейчас разорвет сердце! Да ведь это же голос бесценной Карашаш. Прощай Карашаш! Прощай, любимая!..

Акбалак закончил игру, положил домбру на колени и стал вытирать со лба пот. Долго все молчали... Когда заканчивает свою игру настоящий домбрист, слушатели, как правило, некоторое время молчат.

Когда громко ухнул филин, Лена, опомнившаяся первой, восхищенно забила в ладони. На губах Акбалака появилась слабая теплая улыбка – он с благодарностью посмотрел на девушку.

– Это просто здорово – то, что я слышала! – воскликнула Лена.

– Я назвал эту музыку «Прощание с Корымом», – обратился Акбалак к Насыру. – Я хочу, чтобы вы запомнили ее надолго, хочу, чтобы она осталась после меня...

Конечно, Насыр понимал, что прощание это не с островом, а с жизнью.

Свет костра привлек черно-бурого сома. Сом давно заметил его и теперь неспешно плыл к берегу, невесело размышляя о перипетиях своей судьбы. Вот уже несколько дней, как он был голоден. Его чуть не пристрелил какой-то всадник, проезжающий берегом – вовремя он нырнул в глубину, еще бы мгновение – и пришлось бы ему всплыть брюхом вверх. Да, теряет он осторожность, теряет – совсем постарел. Да и море уже давно не крепость, а ловушка – голодно в нем, неудобно, вода не та...

Он высунул голову из воды и посмотрел на людей у костра, потом подплыл к берегу вплотную. Снова высунул голову и повел ноздрями – он чуял свежее мясо, которое лежало на ящике. Сом, увидев мясо, стал втягивать в себя воздух. Ящик вместе с мясом пополз к нему. На пути его была коряга, и ящик опрокинулся. Люди оглянулись, а Шортанбай встал, направился посмотреть, что там могло упасть. Сом же, заглотнув мясо, уже разворачивался, собираясь улизнуть.

– Сом! Сом! – крикнул Шортанбай.

Все, кроме Акбалака, бросились к берегу. Сом, упруго шевеля огромным хвостом, стал уходить в море.

– Э, это наш старый знакомец, – улыбнулся Игорь.

– Разбойник и вор, – засмеялась Лена. – Наверно, опять проголодался!

– Appetit у него зверский, – добавил Игорь. – Все, что заметит на берегу, тянет себе в пасть.

– В Карае тоже обитает один большой сом. Очень любопытный. Ждет меня, когда начну молиться. А как начну – высунется из воды и смотрит...

Шортанбай рассмеялся:

– Наверно, он интересуется арабским языком!

Возвратившись к костру, Насыр обратился к Акбалаку:

– Не стало теперь настоящих сомов... А были огромные – могли заглотнуть всадника вместе с лошастью, правда, Ака? Чем дольше живешь, тем величественнее кажется прошлое...

– Были они, конечно, изрядного весу, но на людей-то не охотились! – Акбалак сплюнул. – Теперь всякая живая тварь мстит человеку... Икор, или не прав я? Ты бы объяснил мне, что такое происходит с нашим морем? Ведь совсем недолго ему осталось жить. А с его смертью умрем и мы: нас похоронят пески. С каждым годом песчаные бури становятся и крепче, и злее. Чем дальше уходит море, тем страшнее они становятся. Я живу восемьдесят лет здесь, но никогда еще не видел таких бурь – теперь они бушуют беспрестанно...

– Да, Акбалак-ага, вы совершенно правы. По нашим наблюдениям, за последние несколько лет сила ветров увеличилась вдвое. Соляная пыль беспощадна: она засыпает, она губит без остатка все живое вокруг...

– Ну и туман, однако, – сказал Насыр озираясь. – Ака, посмотри, как луну обложило – боюсь, что завтра мы не сможем выйти в море.

Акбалак, изучающе посмотрев на луну, молвил:

– К утру должен рассеяться...

Лена с сомнением сказала:

– Метеостанция сообщила, что туман будет густой. Наши приборы то же показывают.

– Доченька, туман к утру рассеется, – повторил Акбалак. – Посмотри на луну: видишь красноватый обод? Это – верный знак.

– А приборы показывают другое! – Лена почему-то заупрямилась.

– Ваши железяки чувствительнее моих костей? – спросил Акбалак и закашлялся; ему не хватало дыхания, чтобы говорить свободно.

– Лена, – мягко укорил девушку Игорь, – у казахов принято, что молодежь, слушая старших, не возражает...

– Поняла, – Лена улыбнулась. – А если взрослые ошибаются?

– Взрослые не могут ошибаться...

– Это так называемый адвективный туман, – объяснил Игорь молодежи и, повернувшись к Акбалаку, заметил: – В отношении туманов, Акбалак-ага, тоже не могу сказать ничего утешительного: теперь они наблюдаются в четыре раза чаще, чем прежде.

Постепенно все начали расходиться. Лена негромко спросила:

– Кто, интересно, окажется прав: наши приборы или старики?

– Ты о чем?

– Я говорю о тумане...

Сергей не впервые выезжал на Синеморье вместе с Игорем. Он хорошо знал местных аксакалов, безошибочную точность их предсказаний.

– Они окажутся правы, Леночка, в этом я не сомневаюсь... – Он помолчал, потом задумчиво произнес: – Надо бы передать привет Мусе. Думаю напроситься с ним на охоту... Что может быть лучше охоты с беркутом! Ты когда-нибудь что-либо подобное видела?

– Охота с беркутом? Сто лет мечтала увидеть! А он сможет взять нас обоих?

– Я думаю... А теперь спи. – И он чмокнул ее в щеку.

Насыр подбросил хворосту в затухающий костер. Они с Акбалаком остались одни. Насыр внимательно посмотрел в глубоко запавшее лицо Акбалака и произнес:

– Ака, ты заметно устал... Может, отправимся спать – чего мы тут сидим?

– С отдыхом ты меня не торопи пока – я еще жив вроде, а на вечный покой только собираюсь... Какие вести от Кахармана? Он все еще на Балхаше?

– Давненько нет от него писем. Я уж думаю – не случилось ли чего?

– А рыбаки наши видишь как довольны. С тех пор как Кахарман на Балхаше, Камбару стали выпадать хорошие места...

– И улов приличный... Не знаю, успею ли сам передать благодарность Кахарману, в случае чего ты обязательно передай.

– Конечно, передам, зря не беспокойся... – Мысли Насыра тем временем стали возвращаться к знакомому тревожно неразрешимому кругу, и он сказал: – Да, Ака, восстала природа против человека; нет уже сил у нее терпеть наше варварство... Я все вспоминаю Откельды, который любил повторять, что мир похож на хрупкое птичье яйцо: разобьешь его ненароком – будет светопреставление. Он разглядывал каждый листочек, каждую травинку и говорил – берегите это, берегите каждую крохотку природы...

– Да разве мы его услышали?! Вот ты, Насыр, молишься Аллаху, – Акбалак вернулся к их прежним спорам, – так ответь мне на один вопрос. Если Аллах существует, то почему он не вразумил человека, не сказал ему: «Хватит, остановись! Посмотри, что ты делаешь!» Никак я что-то не могу понять такого Бога! И думаю просто: Бога нет! Или же он последний поганец, если не может остановить и вразумить человека – такой же поганец, как и сам человек...

– Вот-вот, – ободрил старца Насыр, – давай-ка лучше поговорим о человеке, чем ругать Аллаха. Грех так ругаться! Страшный грех!

– Не хочу я уже говорить ни о Человеке, ни о Боге! – вспыхнул Акбалак. – И не жалею я его – этого самого твоего человека! Жду, когда он погубит самого себя. Уж быстрее бы! Я тебя хочу спросить – а имеет он право жить, человек, если он такая скотина?

Насыр понял, что словами Акбалака движет сейчас совершеннейшее отчаяние, полное безысходности – впервые он видел Акбалака таким. Он растерялся и невнятно пробормотал:

– Все от Аллаха, Ака, все от Аллаха...

Акбалак ничего не ответил – лишь глаза его недобро блеснули, когда он снова услышал слово Аллах.

Луна спускалась к горизонту. Плотность тумана заметно увеличилась. Костер угасал. Старики с трудом различали друг друга.

– Как бы не пришлось нам краснеть перед молодыми людьми, – проговорил Насыр. – Туман-то какой...

Акбалак ответил:

– Увидим на рассвете, кто прав, не очень-то я доверяю их железным инструментам. Скоро он рассеется, помани мое слово.

Акбалак закашлялся. После таких едких, химических туманов люди, отравленные невидимыми газами, входящими в их состав, заболели не на шутку.

Насыр протянул Акбалаку чистый, сухой платок:

– Ака, прикрой рот, так будет лучше.

И сам примостился рядом, плотно укрывшись. Они молчали – если разговаривать в таком тумане, вероятность отравления резко увеличивается. Доходили до Насыра слухи о его старом друге Физули. Говорили, что тот серьезно болен. Причина – все те же плотные туманы и соляные бури. Гербициды, которыми об-

рабатывают рисовые и хлопковые поля, стекаются в море, затем поднимаются паром и ядовитым дождем вновь проливаются на землю. И такое круговращение совершается изо дня в день, год за годом. Ветер и горячее южное солнце очень способствуют ему. Как знать, может быть, и Акбалак мог бы жить дольше, не будь этих туманов, не будь этих кислотных дождей.

Лена проснулась первой. Во рту было липко и горько. Туман не редел. Значит, приборы дали правильный прогноз – жырау проиграл спор. Она стала будить Сергея.

– Сереженька, ау!

Сергей сонно открыл глаза и зевнул:

– Чего ты?

– Посмотри, какой туман – черный, кудрявый. Руки не видно. Наука победила!

– Поздравляю... – Он перевернулся на другой бок и тут же снова заснул.

Насыр расстелил перед собой чистый платок. Он готовился прочесть утреннюю молитву. Платка он перед собой не видел, но когда закончил молитву, платок был уже различим. Он встряхнул платок и, аккуратно сложив его, засунул в карман. Потом заговорил:

– Ака, как ваше самочувствие?

Признаться, ему не хотелось будить Акбалака, и обратился он к нему только с тем, чтобы услышать его голос.

– Ничего, Насыр, спасибо, – отозвался Акбалак, и Насыр, прислушавшись, определил, что состояние Акбалака не ухудшилось – это порадовало его. В хорошем настроении он отправился в глубь острова, чтобы совершить небольшую прогулку.

Когда Насыр вернулся с прогулки, Игорь предложил ему осмотреть лабораторию. Там-то Насыр и поделился с Игорем своей тревогой:

– Как бы не стало старику совсем худо после такой туманной ночи. Нужно доставить его в Шумген в целости и сохранности. Спасибо тебе за доброту и внимание – благословит тебя Аллах!

– Я понимаю, Насыр-ага. Через полчаса можно отправляться.

– Тронемся сразу после завтрака. Путь неблизкий. Да и туман исчезнет раньше – прогнозы Акбалака оправдались...

– Вечером все повторится, как вчера. И так будет всю неделю.

– Похоже, что так, знаю по опыту...

– Наши приборы тоже начинают приобретать кое-какой опыт, – улыбнулся Игорь.

– Я уважаю науку – никогда не отношусь к ней с недоверием. Только бы вредила она поменьше природе и людям! Тогда бы она вполне могла тянуться к Богу, а землю превратить в цветущий рай. – Насыр помолчал, вдохновляясь. – По просьбе своих земляков я некогда взял в руки Коран и стал муллой. С того дня я в упорных молитвах прошу Аллаха вернуть воду нашему морю. Ведь наши окрестности когда-то были земным раем – я не преувеличиваю, Икор. Хорошо, пусть место Бога займет наука, я не против, я буду молиться ей так же, как Богу, – но пусть она избавит людей от горестей, от бед, пусть она прибавит человеку радостей, пусть она даст людям счастье!

– В этом и состоит конечная цель науки! Но не всегда научная мысль может подняться на ту высоту, где царит мысль божеская – ее не пускают чиновники и бюрократы. Наука стала их рабой – вот ведь как, Насыр-ага!

Их разговор был прерван голосами Лены и Сергея. Постелив на землю ска-терть, они звали их к чаю.

– Насыр-ага, мне нужно посоветоваться с вами, – сказал Игорь, вынимая из кармана магнитофонную кассету. – Здесь запись песен Акбалака – их делал еще отец. А вчера я записал его новый кюй. Как отнесется к этому старик?

– Чего ж тут советоваться! С радостью все услышат его молодой голос – он тоже обрадуется.

– Голос не совсем молодой. Первая запись сделана лет пятнадцать назад...

– Все равно! И тогда у него голос был что надо! Ты включи не предупреждая. То-то он удивится! То-то воспрянет душой! – они направились к костру.

Вокруг Акбалака хлопотал Шортанбай. Полил ему на руки теплой воды, подал мягкое свежее полотенце. Акбалак обратился к Насыру:

– Ты уже прошелся после молитвы? А у меня больше нет сил на утренние прогулки. А хотелось бы и мне проститься с Корымом.

Печаль и горечь звучали в его голосе.

– Никакой радости от прогулки в такой туман, – успокоил старца Насыр.

– Надо в дорогу собираться... Хуже мне что-то стало, Насыр...

– Да мы и не задержимся. Сразу после чая и тронемся.

Когда из коробочки, величиной с табакерку, послышались звуки домбры, Акбалак, удивленный, повернулся к Игорю. Он узнал свою домбру, узнал свой голос. Но быстро справился с первым волнением и вскоре слушал собственное пение, даже чуть-чуть нахмурившись, оценивая свой голос как человек сторонний. Но когда из магнитофона полилась музыка, записанная Игорем вчера, он уже был не в силах справиться с чувствами. Глаза невольно увлажнились, и он, стыдясь слез, низко склонил голову. Все это заметил Насыр, сам не на шутку растроганный...

Сразу после завтрака стали грузиться. Волнение не оставляло Акбалака – он был рассеян, казалось, временами даже не понимал, куда это ведет его Шортанбай. Он с жадностью во взоре оглядывал остров – в душе он рыдал, прощаясь с ним. И когда лодка тронулась, он весь со своего мягкого ложа подался к берегу, к людям, которые махали им руками. Да-да, так сильно рвалось его сердце к Корыму – ведь оно еще не успело проститься с ним!

Ведь оно все еще шептало: «Прощай, Корым! Прощай, уголок, приютивший меня и мою бесценную Карашаи! Я вернулся сюда перед смертью. Довольна ли ты, незабвенная моя?» – «Да, любимый, я довольна», – отвечала Карашаи шепотом, который слышал в этом мире только Акбалак. «Не держи на меня обиду, – шептало сердце Акбалака, – что не удалось мне отыскать наш шалаи, у меня совсем уже не было сил для этого...» – «Нет-нет, – шептала Карашаи, никакой обиды, любимый мой...» И еще что-то шептала Карашаи, и еще что-то шептало сердце Акбалака, но шепот их понятен был только двоим; и Акбалак, качаясь на волнах, прикрыл глаза, чтобы слушать и слушать его...

В Шумгене они оказались после полудня, вокруг на побережье было еще ясно, солнечно. Но к вечеру туман внезапно упал снова. Сразу все вокруг потемнело, а через полчаса все ближнее и дальнее побережье погрузилось в мрак. В таком тумане с трудом можно было различить протянутую руку.

Встревоженный Насыр не мог больше задерживаться у Акбалака и поспешил в Караой. Акбалак не принуждал его остаться, он тоже думал о Корлан, которая наверняка уже начала волноваться.

Домой Насыр вернулся глубоко за полночь и сразу же лег спать. А ранним утром он уже вновь был на ногах – его ждала молитва. После молитвы он заложил кобыле сена, потом вспомнил о большой старой сети, которую давненько собирался залатать. Стоял туман. Впотьмах он отыскал во дворе лестницу и полез на крышу. В доме всполошилась Корлан:

– Чего ты надумал, Насыр? Ты что, хочешь шею себе свернуть?

А когда он, кряхтя, втащил в дом сеть, изумилась:

– Ойбой, не иначе как надумал латать?

– Туман продержится не меньше недели. Будем латать сети – так незаметнее пролетит время...

– Кому теперь понадобятся эти сети? – вздохнула Корлан.

– Не говори так! На свете нет ненужных вещей, все может пригодиться...

В это самое время лампочка мигнула несколько раз и потухла. Дом погрузился во мрак.

– Беда-то какая, господи. Лампа у нас осталась в кладовке. – Корлан поднялась и ощупью двинулась к двери. – Возьми-ка спички на столе да посвети мне.

Насыр последовал за ней.

– Хорошо, если остался керосин в лампе...

– Муса уже, наверно, догадался, что надо включить движок. – Насыр стал собираться. – Пойду, помогу ему.

– Да он же еще вчера отправился в Шумген к Акбалаку. Разве вы не встретились?

– Видно, он проехал низовьем. – Насыр был озадачен. – Тем более нужно идти.

Худо впотьмах чинить сеть...

Насыр поковырялся в дизеле, обошел его с одной стороны, с другой – вернулся ни с чем. Серdito рассупонил пояс, бросил его:

– Все пошло прахом, все!

Он лег и отвернулся от Корлан. Но пролежал недолго. Сплюнул и принялся за сети, напрягая глаза и почти ничего не видя. Корлан, никогда не перечившая мужу, под села к сетям с другой стороны. Вскоре они были не одни – к ним зашла старуха Жаныл с внучкой на руках, за ней явилась и старуха Мусы. Вчетвером чинить сети стало веселее; за разговорами не заметили, как пришло время обеда. А после обеда к ним заглянула сумасшедшая старуха Кызбала. Вообще-то она не любила ходить в гости, но тут почему-то решила изменить своим привычкам. Кызбала поздоровалась, неуверенно застыв в дверях. Ее пригласили и усадили на мягкий топчан. Женщины, напуганные темнотой и одиночеством, стекались в дом Насыра не сговариваясь. Так продолжалось несколько суток: дни они коротали с Насыром и Корлан, а на ночь расходились по своим домам.

Между тем в Караой спешили трое молодых парней, ведомых Кайыром, который, конечно же, хорошо знал здешние места. Опасен был их путь. На одном из разъездов в вагон вошли двое парней казахов. Кайыр безошибочно определил: за ними установлена слежка! У него была великолепная зрительная память – в одном из этих высоких парней он мгновенно узнал сотрудника чимкентской милиции. Кроме маленькой личной команды Кайыра в этом вагоне ехали за анашой

и ребята прибалты, которых теперь нужно было предупредить. Решил: надо дать знак хотя бы Петру и Арно, чтобы они вели себя осторожней. Выходя в тамбур, Кайыр подмигнул Петру. Тот через некоторое время тоже вышел покурить. Кайыр коротко бросил: «Те двое, что сейчас вошли, – менты. Будьте готовы ко всему. Возможно, придется прыгать с поезда. Я дам знать, что делать».

На третий день туман стал слабеть, что отметил Насыр, выйдя во двор, но к вечеру опять сгустился. В короткий миг просвета Насыр различил на окраинном холме аула какие-то движущиеся фигуры. Они еле вырисовывались в тумане, и Насыр долго не мог понять, что там могло быть: люди? животные? Наверно, дикие лошади, решил он.

Совершив омовение, Насыр поспешил в дом, но прежде еще раз оглянулся. Никого на холмах не было. Встав на молитвенный коврик, он принялся молиться. Но из головы его не шли эти странные фигуры – наваждение какое-то! Впрочем, ничего удивительного не было – возможно, что все это лишь показалось ему, примерещилось. В такие туманные дни у него, как обычно, резко подскочило давление. Три ночи он провел почти что без сна, просыпаясь с головной болью, с шумом в ушах. И у всех так... Вчера на такую же головную боль жаловались и Жаныл, и старуха Мусы – не могли от подушки оторвать голову. Таким же недугом занемогла сегодня и Корлан...

Или же не померещилось? Закончив молитву, он не сразу поднялся с колен, а некоторое время постоял задумавшись.

В душе Насыра это странное, зыбкое видение на холмах нашло необъяснимый отклик. Насыр, по-прежнему стоя на коленях, обратил глаза как бы в самого себя, в свою долгую память, подернутую таким же густым туманом, в который погрузилось нынче побережье, – и привычный окружающий мир, предметы и вещи как бы сместились в область некой ирреальности. Этот туман сейчас легко соединился с туманом памяти Насыра, и сейчас старый рыбак видел такие же зыбкие, как недавние фигуры, очертания людей, вереницей движущихся по невысоким пологим холмам. Этих людей много, они идут по пескам уже долго – с востока на юг и на запад, в города, где мечтают найти спасение от голода. Истерзанные, измученные жаждой, многие из них валяются с ног и больше не встают. Никто не останавливается, никто не обращает на них внимания. И сами умирающие уже не молят о помощи: они знают, что помочь им нечем.

В те дни было Насыру восемнадцать лет – он был молод, полон сил. В те дни он только начинал выходить в море с аксакалами и карасакалами. Поморы делились с истощенными, бредущими людьми хлебом и рыбой, уговаривали их здесь остаться, на побережье, убеждали, что в песках их ждет верная смерть. Но мало кто из странников последовал этому совету. Пугал, наверно, беженцев непривычный труд – были они скотоводами, никогда не брали в руки кетменя, не ловили рыбу... И сколько их умерло в песках – кто знает...

Однажды недалеко от аула возвращавшийся с моря Насыр обнаружил мальчишку лет тринадцати. У паренька совсем не было сил подняться. Но, увидев приближающегося Насыра, он-таки встал на ноги, зато девушка, склонившаяся над ним, вдруг рухнула как подкошенная. Мальчишка, сжимая слабой рукой камчу, исподлобья глядел на Насыра. Его настороженность была понятна. В дороге они насмотрелись всякого – видели подлецов, которые отнимали у людей последний кусок хлеба, видели тех, кто не считал зазорным питаться человечины. Насыр

ласково заговорил с детьми: «Сестре твоей, вижу, совсем плохо... Пойдемте-ка ко мне, ребята». Мальчишка, по-прежнему сжимая рукоять камчи, мрачно смотрел на Насыра. «Не бойтесь меня. Я не разбойник и не людоед... Идемте, дом мой совсем рядом...» Мальчишка не отрывал настороженного взгляда от Насыра. «Воды, воды...» – прошептала девушка. «Корлан!» – жалобно бросился к ней братишка и хотел было наклониться над нею, но, понимая, что больше уже не встанет, если сделает это, выпрямился и ответил: «Нету воды, Корлан, нету...» Губы у него были черные, растрескавшиеся до крови, ноги дрожали, как у новорожденного жеребенка. Насыр бросил весла, решительно подошел к девушке и поднял ее на руки. «Следуй за мной», – приказал он мальчишке. Тот наклонился к веслам. «Не тронь, я вернусь за ними сам». Девушка была легкая как пушинка – настолько она ослабла от голода и жажды. Когда он открыл дверь, мать лишь ахнула от изумления. Тотчас же послали за Откельды. Лекарь стал поить детей травяным отваром. Уходя, он предупредил: «Утром дадите рыбного бульона, а сегодня ни крошки съестного – это может плохо кончиться».

Через месяц Корлан, так звали девушку, совершенно изменилась – щеки ее порозовели, в глазах появился живой блеск. Девушка оказалась сноровистой, ловкой – быстро управлялась по дому и хозяйству, так что мать Насыра только ахала. Очень скоро дом засверкал чистотой, стал по особенному теплым и уютным. Насыру нравилась эта расторопная четырнадцатилетняя девчонка еще и потому, что оказалась она умной, смышленной. Мать как-то сказала Насыру: «Судя по воспитанию – это дети из хорошей семьи. Ты слышал, как поет Корлан? Жаль, что не слышал. Попроси как-нибудь ее спеть. Наверно, у них была музыкальная семья – песни Семеня, которые поет Корлан, не всякому даются». Любовь к Корлан мать Насыра сохранила до самой своей смерти. К осени братишка Корлан стал выходить с Насыром в море. Но с каждым днем он почему-то становился все мрачнее и задумчивее, а однажды и совсем исчез. Насыр справился у Корлан, что бы это могло значить, и она ответила, не смея поднять глаз на Насыра: «Наверно, он отправился искать нашего дядю. Спасибо вам за все. Пришла пора и мне прощаться». – «Я никуда тебя не отпущу!» – решительно заявил Насыр и густо покраснел до ушей. Корлан еще ниже опустила голову и убежала в дом, тоже очень смущенная. Сколько времени прошло с того далекого дня?..

Помолясь, Насыр провел ладонями по лицу: аминь!

– Аминь! – услышал он за спиной чей-то голос.

Обернулся. На пороге стояли три человека. Лица у них были почерневшие от пыли, одни глаза блестели.

– Ассалаумалейкум, Насыр-ага! – произнес один из них, тот, что был ближе к Насыру.

– Алейкумсалам! – ответил Насыр. – Кто вы такие, что-то не узнаю вас...

Насыр приблизился к ним и каким-то шестым чувством угадал: это те, что маячили недавно на косогоре.

– Я Кайыр, Насыр-ага. Вы, наверно, помните меня – был до вас муллой в Караое...

– Вот тебе и на! Каким же ветром тебя сюда занесло? – Насыр успокоился. – Идите отряхните пыль с одежды, умойтесь, потом будем чай пить – я пойду похлопочу...

Путники привели себя в порядок и сели за стол. Пока Насыр возился у печи, от буханки хлеба и куска масла, что были на столе, не осталось и следа.

– Возьми еще хлеба в том ящике, – указал Насыр Кайыру. – Совсем вы что-то оголодали, ребята...

– Два дня не ели, – ответил Кайыр, нарезаая хлеб. – А где Корлан-апа?

– Отправилась к старухам – они все разом что-то слегли. Ничего удивительного: сам видишь, что у нас творится.

– И света нет?

– Все у нас тут развалилось. Есен с бригадой на Балхаше – некому движок починить. Я поковырялся, да что толку: ничего я в этом не понимаю. Вот и сидим, кукуем... А ты откуда и куда? Что это за люди с тобой?

Кайыр помедлил с ответом. Зная крутой нрав старика, он не хотел ему врать – старик, раскусив, прогонит вон. Но привычка взяла свое, и он начал:

– Его зовут Петром, москвич, – Кайыр указал на кудрявого светловолосого парня, что был по правую руку. Тот пристально посмотрел на Насыра, и Насыру стало немного не по себе! «Какой острый взгляд!» – мельком подумал он.

– А это Арно, он эстонец. У него серьезно заболела мать. Мы приехали, чтобы собрать для нее немного маку. Мать у Арно – золотой человек, как не постараться? Я бывал у них в доме, ел хлеб, испеченный ею.

– Благослови вас Аллах! Чего-чего, а маку здесь хватает. Можно отправиться хотя бы в Мойынкум, это совсем недалеко. – Насыр вздохнул. – Нет ничего на свете горше страданий больного человека.

Кайыр затаенно улыбнулся – ему удалось провести Насыра. Однако озабоченность не покидала бывшего муллу:

– Не пойму нынешнюю милицию – словно с цепи сорвались. За сбор мака даже сажать стали. Веками вся Азия пользовалась им – а теперь почему-то запрещено. Насколько я помню, в наших краях нет старика, который не потреблял бы мак – а, Насыр-ага?

– Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Привыкнуть к маку куда легче, чем отвыкнуть. – Насыр помолчал и вдруг рассердился неизвестно на кого: – Лучше бы побольше думали о том, как чахнет наш край, как издыхает море, а то нашли себе занятие – ловить на железной дороге дураков, что приезжают к нам за маком.

– Во-во, и я про то же, – поддержал его Кайыр. – А много народу уехало отсюда за эти годы, Насыр-ага? – решил переменить он тему разговора.

– Осталось лишь несколько домов...

Насыр не договорил – Петр вдруг зашелся сильным кашлем. Насыр с жалостью глянул на парня и обратился к Кайыру.

– У твоего друга все внутри забито солью и песком. Выведи его на улицу.

Кайыр с Петром поднялись.

– Пусть выпьет два-три ковша воды, может, его хорошенько вырвет.

Насыр и Арно остались одни.

– Матери-то сколько лет?

– Шестьдесят пять...

– Э, еще молодая. Это хорошо, что ты не бросаешь ее хворую. Нельзя называть людьми тех, кто бросает своих стариков... А ваш народ мне знаком. Хорошие люди эстонцы, работающие, аккуратные. Во время войны к нам в аул привезли

несколько эвакуированных семей из Эстонии. Я крепко сдружился с молодым парнем, звали его Рейн. Он еще долго после войны жил здесь, хороший был рыбак. Потом его разыскали взрослые дети, увезли к себе. Ну и правильно. Какая здесь жизнь пошла? Никудышная здесь жизнь пошла, дерьмовая. Стали уезжать русские, немцы, а потом и сами казахи – кто куда. Теперь побережье опустело – на все прибрежные аулы осталось человек пятьдесят, не больше. Да и то в основном старики. – Насыр глубоко и скорбно вздохнул. – И за что на казахский народ валятся и валятся невзгоды одна за другой?! Кто ответит: за что, зачем, почему? Ты прежде бывал в Казахстане?

– Не приходилось. Нас сослали в Сибирь. А родился я и вырос в Таллине... – Вдруг он смутился своего ломаного русского. – Дедушка, вы меня понимаете? Понимаете, о чем я сейчас говорю?

– У меня с русским тоже неважно, – ответил Насыр.

– По сравнению со мной вы говорите прекрасно, – улыбнулся Арно. – А вот в Алма-Ате казахи даже между собой говорят по-русски. Мне это показалось какой-то дикостью.

Насыр безнадежно махнул рукой:

– Далеко они не уйдут, презрев родной язык. Мне тоже все это неприятно видеть и слышать. Да если я казах – имею ли я право забывать свой язык? Только кому это сегодня втолкуешь?

Кайыр, видя, что Насыр и Арно нашли тему для разговора, принял это за добрый знак.

– О чем речь? – спросил он, подсаживаясь к столу.

– Да вот рассказываю об эстонцах, которые жили в Караое. Ты застал кого-нибудь? Говорю, что нет плохого народа, а есть плохие люди. Такие могут быть в каждом народе... – Он повернулся к Петру: – Полегчало?

Петр кивнул:

– Спасибо, дед.

– Надо бы по случаю гостей зарезать барана, да только нет у меня барана. Кайыр, объясни это гостям. Придет старуха – будет нам куырдак из свежего сайгака.

– Спасибо и за это, Насыр-ага. Мы совершенно без претензий.

– Пойду пока задам кобыле сена. – Насыр встал. – Два дня ее, бедную, прогулять не могу...

– Сивая кобыла – вот все ваше состояние, – не без ехидства заметил Кайыр, провожая Насыра глазами. Насыр сделал вид, что ничего не услышал. Обмотал лицо влажной тряпкой и вышел.

– Мудрый старикан, – сказал Арно.

– Скорее горемычный. Другие вовремя сообразили: бросили все и уехали, а этот почему-то заупрямился.

– Хан! – решительно заявил Арно, будто бы обиженный за Насыра. – Нам не понять его – в этом мы должны отдавать себе отчет. Так стоит ли осуждать?

– Арно у нас философ, – вмешался Петр, – только дай ему повод. Нет чтобы поблагодарить боженьку, что живы остались... Смотри не забудь там в своем Таллине, что обязан жизнью нашему Хану.

Кайыр знаком остановил Петра:

– Не понимаю, чего вы брюзжите? Аксакал, кстати, сказал, что подобающего угощения не будет, просит на него не обижаться.

– Нас убивать надо, а не угощать, – мрачно сказал Петр и накинул куртку. – Пойдемте глянем дизель. Может, хоть так отблагодарим старика за гостеприимство.

Кайыр согласно кивнул, и они направились к окраине аула. Кайыр, когда выезжал в Мойынкум за маком, обязательно брал с собой Петра – этого крупного, с грубыми чертами лица парня. Петр был простодушен, честен и надежен. Кайыр сошелся с ним в Москве лет пять-шесть назад. Они работали в одном жэке – Петр сантехником, а Кайыр дворником (после того, как исключили его из института)

Родителей своих Петр не помнил, поднимала его на ноги бабушка. За драки его дважды судили, выгнали из железнодорожного техникума, хотя учиться ему оставалось меньше года. Когда он вернулся домой после второй «ходки» – так Петр называл заключение, – то узнал, что бабушка его умерла. Часто теперь под хмельком он рассказывал, как она отходила на тот свет. Обычно свою историю он начинал так:

«Родился я в одном из старых московских домов в центре, там же и вырос. Теперь их нет, теперь это место называется Калининским проспектом. Вырос бы я толковым человеком, глядишь, если бы прежде времени не помер наш участковый Михалыч – он меня хорошо держал в руках. А без него я, как видите, спился вчистую, пошел, как говорится, гулять по буфету...

Прибыл я, значит, на Казанский вокзал, бритенький, значит, и со справкой в кармане и поехал, конечно, домой, к бабаньке. Приезжаю – нет моей бабанюшки, третий месяц лежит в больнице – соседи мне говорят. Пришел в нашу районную больницу, а бабушка моя родненькая лежит при смерти. Она, когда узнала меня, перекрестилась и ясно так сказала: «Сокол мой, внучек вернулся!.. Теперь есть кому похоронить меня! Слава, слава тебе, Господи!..» Я увез ее домой. Дома пусто, денег нет, жратвы – тоже. Пошел к корешам, подзаянл денег, ухаживал за ней, как мог, кормил с ложечки. Она тихо благодарила меня и ждала смерти. Крепкой оказалась, ей-богу... В ожидании смерти молилась Богу каждое утро. А тут участковый – молодой сержант, из хохлов, – стал проявлять особый интерес к моей персоне. После тюряги, естественно, в Москве не пропишешься. Ни прописки, ни работы. Сержант по-серьезному стал выдворять меня из Москвы. Я, коренной москвич, должен убираться из родного города, а он, мент, должен жить в Москве. Очередная встреча с ним кончилась потасовкой. Все! За 24 часа вытурили меня в Пермь, на химию. Бабушка умерла, я даже не знаю, где она похоронена. Вот когда я вспомнил старого участкового Михалыча. Бабушка и Михалыч – это были люди! Таких уже нет на свете. Остались такие же, как мы, живые трупы, – можем жить только табуном, в одиночкудохнем. Или чтобы выжить – надо опять идти в тюрьму».

Петр быстро определил причину:

– Движок забит соляной пылью, надо помпу прочистить. Где-то здесь обязательно должен быть бензин, посмотрите. Да со спичками поосторожнее, ребята, может полыхнуть в секунду.

– Кажется, нашел, – послышался голос Арно. – Чего-чего, а бочек всяких тут навалом!

Кайыр же отыскал какую-то палку, намотал на нее ветошь – факел был готов. Он поднес спичку, и ветошь вспыхнула. Петр рассмеялся:

– Это еще не все, ребятки. Поищите ящик с инструментами.

Отыскался и ящик, благо он был рядом.

Вернувшись, Насыр обнаружил, что гости исчезли. Подошла к тому времени и Корлан, начав хлопотать прямо с порога:

– Вижу, проголодался, сейчас чайник поставлю...

– И поторопись, у нас гости.

– Иа, откуда они взялись? С неба, что ли, свалились?

– Муса вернулся? – Старику не понравился тон, которым Корлан задала свой вопрос, и он сменил тему разговора.

– Нет еще. Кырмызы заходила к Жаныл, беспокоится; не заблудился бы старик?

– Муса да чтоб заблудился! Выставил сейчас волка из норы и блаженствует...

За него нечего беспокоиться. Лучше моли Бога, чтобы ненастье прошло быстрее...

– Где же твои гости? Кто они – заблудились, что ли? – снова спросила Корлан.

– Не знаю. Я вышел к кобыле, вернулся – их уже нет.

– А не пригрезились они тебе, часом?

– Однако ж, и бестолочь ты! – вспыхнул Насыр. – Дастархан ты не видишь?

Вот здесь они сидели! Один из них наш мулла Кайыр, с ним еще двое. – Насыр, торжествуя, нашел самый веский аргумент: – А мешки эти чьи, по-твоему?

Корлан в изумлении смотрела на рюкзаки.

– Иди кроши мясо на куырдак. Да сети куда-нибудь убери, чего мы с тобой в темноте налачаем...

– Иа, Алла! – вздохнула Корлан, подняла самовар и вышла. Вскоре они вдвоем рубили мясо, взяв в руки маленькие топорики.

– Жесткое какое, – бормотала Корлан. – Жара стоит: в эту пору разве может быть жирным сайгак – кости да жилы одни.

В это время вспыхнула лампочка – старики зажмурились прикрывая глаза.

– Бисмилла! Это они, больше некому! Молодцы, ребята! – крикнул на радостях Насыр.

В самом деле, гости скоро вернулись. Уставшие, голодные, они быстро поужинали, Петр и Арно тут же отправились спать, а Кайыр решил еще немного посидеть с Насыром. Они пили уже не первую чашку чая, за окном выл ветер, швыряя песок в стекла.

Насыр прислушавшись и сказал:

– А вроде стихает. Не кажется тебе?

– Пора бы, сколько можно, – откликнулась Корлан и стала убирать со стола.

– Погоди, пусть гость благословит дастархан, – остановил ее Насыр.

– Все в воле Аллаха, – исполнил желание Насыра Кайыр. Он довольно-таки непочтительно развалился на подушках и, словно забыв, кто перед ним, продолжал весьма хвастливо: – Много ли забот у муллы: дать имя новорожденному, совершить обряд бракосочетания да проводить в могилу усопшего. Чем не жизнь! Читай молитвы да копи денежки. Не очень вам повезло, Насыр-ага: вы стали муллой, когда жизнь на побережье затихла – не рождаются здесь больше люди, не женятся, не мрут...

Насыр холодно посмотрел на Кайыра:

– По-твоему, я стал муллой, чтобы богатеть? Это вы, молодые, так живете – думаете только о своем брюхе! Как запахло бедой, быстренько отсюда деру дали! Я не коршун и не ворон, чтоб чьей-то смерти ожидать!

Это было как ушат холодной воды – Кайыр мгновенно собрался, жалея о своей минутной оплошности: «Черт меня дернул за язык! Ляпнул не подумав...»

– Простите, Насыр-ага... – пробормотал он смущенно.

Но Насыра трудно было остановить – лицо его потемнело от гнева:

– Я не мулла! Это вы все муллы! А Насыр родился рыбаком и умрет рыбаком

– заруби это себе на носу, парень!

От громких слов Насыра проснулся Арно. Он вопросительно посмотрел на Кайыра: что случилось? уже выгоняют?

– Спи, спи... – буркнул Кайыр. – Мы тут с Насыр агой вспоминаем прошлое

Насыру было неудобно, что он разбудил гостя, и он довольно-таки примирительно сказал:

– Не твоя в этом вина, время сейчас наступило такое.

Похоже, старик стал смягчаться. И Кайыр, проникаясь благодарностью к нему, сказал:

– Да, Насыр-ага. По большому счету мулла – это посланник Аллаха на земле.

О себе я такого не могу сказать, слишком я заблудший человек, а вы... Это очень хорошо, что вы не пропускаете пятикратных намазов. Большая польза от этого – не нам, так хоть нашему потомству.

– Если бы, – вздохнул Насыр. – Ты растолкуй мне слова Пайгамбара – Пророка Мухаммеда. На протяжении двух лет я молось денно и ночью, но не сумел выпросить у Аллаха спасения Синеморью. Только один раз услышал он меня – послал дождь. Двадцать пять дней подряд бушевал этот ливень. Много снегов растаяло на вершине Памира – две Дарьи вышли из берегов и понеслись к морю! Видел бы ты, какой это был праздник, как резвилась рыба в этой пресной, чистой воде, как ликовали рыбаки, как они воспрянули духом! И что же? Этот праздник обернулся новой трагедией. Вода сошла, и вся рыба осталась на берегах... Сдохла. Глаза бы мои не видели! За что же он так наказывает нас, а, Кайыр?!

– Как бы вы ни придерживались Корана, Насыр-ага, – сказал Кайыр после молчания, – вам не вымолить прощения у Аллаха. Лично для себя – может быть, но не для этого края, не для тех людей, которые его стубили. Не знаю, кому это под силу. Может, отшельникам, пустынным, монахам...

– Я не могу найти ответа вот на какой вопрос: когда, с какого времени человек перестал вслушиваться в природу? Почему он в свое время не распознал, что она серьезно больна, что эту болезнь ей принес сам человек? Да ведь он достоин проклятия после этого!

Арно поднял с подушки голову и попросил Кайыра перевести слова старика. Кайыр перевел. Арно включился в разговор:

– Я тоже не могу понять. Мы все себя считаем людьми цивилизованными: много читаем, много знаем, достигли технического прогресса, но в нас нет мудрости, нет в нас элементарного благоразумия – мы как были варварами, так и остались, вот ведь что ужасно!

– Ты прав, парень! Это то, чего не хватало людям во все времена.

– Нет, самое главное не это. Беда в том, что люди с трезвым ясным мышлением стране не нужны. Они, если хотите, противоречат развитому социализму!

– Бюрократическому социализму, – уточнил Кайыр.

– Чудак человек! А разве он может быть иным? Это его природа, это его неизбежности: кратковременная диктатура пролетариата оборачивается пожизненной властью чиновников. Вы, Насыр-ага, наверное, думаете, что там, наверху, кто-то печется о вашем крае. Зачем же? Им проще сказать: на месте исчезнувшего моря

мы разобьем сады, поседем пшеницу. Орденоносные ваши министры давно наплевали на ваш край, на ваш народ и на весь социализм. – Арно говорил громко и зло. – А те, кого волнует судьба народа, будущее общества, – те спиваются, прозябают в безделье. Если бы было мне чем заняться в своей стране, стал бы я скитаться по пескам, как шакал, и собирать мак?!

– Нет, ты уж постарайся для больной матери, – не понял его Насыр. – А я-то думал, что только моим землякам придется биться за правду. А это, оказывается, по всей стране! И сколько же таких, значит, людей?! Такое, стало быть, у нас начальство: смотрит на свой народ как на заклятого врага? Где, в каком еще царстве-государстве может быть подобное?

– Вы правы, – невесело согласился Арно.

Они спали до полудня и спали бы, наверно, еще дольше, если бы не Насыр. Выйдя во двор, он увидел в низине зеленый «бобик». Насыр быстро разбудил Кайыра:

– Кажется, милиция к нам. Давайте-ка быстро все в кладовку, подальше от греха!

Ребята прихватили свои рюкзаки и юркнули в сарай, оттуда в кладовку. Когда Насыр вышел из дому, машина была уже здесь.

Из нее вышел пожилой капитан и, поздоровавшись, спросил:

– Вы будете аксакал Насыр?

– Да, это я, – ответил Насыр, пожимая протянутую для приветствия руку.

– Нерадостные вести из Шумгена, аксакал. Просили передать, что Акбалак-жырау в тяжелом состоянии. Он ждет к себе вас и Мусу. Так что будьте готовы – за вами пришлют машину...

Горестно выслушал эту новость Насыр. Капитан между тем спросил:

– Аксакал, не проходили здесь какие-нибудь незнакомые люди?

– Только-только ведь развиднелось... Туман стоял. А вы сами-то, откуда будете?

Что-то не похожи вы на нашу милицию, – уклонился от ответа Насыр.

– Мы – милиция железнодорожная. Ну, раз так – до свидания.

– Будьте здоровы, – попрощался Насыр, но вовремя вспомнил: – Сынок, а ведь Муса еще не вернулся! Так что если попадетесь вам на глаза охотник, – передайте ему про Акбалака. – Насыр улыбнулся: – Пора бы ему выбраться из волчьей норы, буря прошла...

Капитан удивился:

– Как же это он может жить в волчьей норе?

– Очень даже просто! Как только поругается со старухой – на лошадь и в волчью нору.

Насыр отпер кладовую и позвал странных гостей обедать. После обеда они стали собираться в дорогу. В это самое время за окном остановилась грузовая машина.

– Никак Бериш приехал на каникулы! – всплеснула руками Корлан. – Два дня глаз я терла – оказалось, к радости! – Она нетерпеливо выглядывала в окно.

Насыр тоже высунулся:

– Не зря твой глаз дергался, ей-богу! Приехал ягненок наш, ненаглядный наш Бериш приехал!

Странно было и смешно видеть Насыра таким растроганным – словно старушка, он мелко стал семенить по дому, бормоча: «Ягненок наш приехал, вот обрадовал, вот обрадовал...» Потом он торопливо предложил гостям:

– Поговорите с шофером, пусть подбросит вас до станции.

Бериш вошел и прижал к своей груди стариков.

– Приехал, приехал... – плакала Корлан и заглядывала в лицо повзрослевшего внука. Насыр ходил кругами вокруг Бериша, не находя себе места.

Шофер согласился подвезти приезжих, но прежде им следовало выгрузить из грузовика уголь. Кайыр, Арно и Петр дружно взялись за лопаты – и вскоре кузов был пуст. Когда гости зашли попрощаться с радушными стариками, Кайыр отвел Насыра в сторону и протянул ему деньги.

– Убери эти бумажки, – рассердился Насыр. – Не оскорбляй меня!

Кайыр понял, что совершил еще одну глупость. Раздосадованный, вышел он из дому, за ним последовали Арно и Петр.

Рано утром Насыр отправился в Шумген.

Акбалака он нашел возлежащим на высоких подушках. Глаза старца были закрыты. Муса уже был здесь. Алмагуль подошла к постели отца, опустила на колени и взяла его руку в свои.

– Отец, к вам приехали...

Веки Акбалака дрогнули, но сил открыть глаза у него не было. Насыр с Мусой вышли из дому и сели на лавочку. Алмагуль и Тобагабыл вышли тоже.

– Кому еще дали знать? – спросил их Насыр.

– Телеграммы послали всем, кому он велел. – Тобагабыл достал из кармана лист бумаги. – Вот список оповещенных...

– Мужчин в Шумгене много? – поинтересовался Муса.

– Они все в разъезде, – ответила Алмагуль. – Кто на Балхаше, кто в Тургае...

– Вчера отец позвонил меня и попросил, чтобы я вызвала вас, Насыр-ага. С того самого времени он не открывает глаз.

Насыр протянул список Мусе:

– Он помнит всех, кто был ему близок и дорог. Не забыл даже Матвея из Москвы. Но говорят, что сейчас Славиков тоже серьезно болен. Так что не стоит его беспокоить напрасно. А Игорю надо обязательно сообщить. Рация в исправности?

– Сегодня же все передам, – ответил Тобагабыл.

– И надо послать в Караой машину за старухами: обязательно надо подумать, как будем размещать приезжающих, – пусть соседи готовятся к приему гостей. А мы пока побудем с Акбалаком.

Они вошли с Мусой в дом. Муса, глядя в лицо Акбалака, глядя на скулы его, обтянутые кожей, погрузился в раздумья. Куда было ему деться – как и Насыру – от беспощадных, горьких дум, преследовавших их каждый день. Разве что действительно спрятаться в волчьей норе – закрыть глаза, заткнуть уши, забиться в самый темный угол...

Странное дело – именно в волчьей норе пришлось отсиживаться Мусе в эти дни, спасаясь от разбушевавшейся стихии, которая застигла его между Карао-ем и Шумгеном. Он торопливо повязал кобылу, руками нащарил лаз и, крихтя, протиснулся в нору. И только тут понял, что совершил оплошность. В глубине норы притаилась волчица с волчонком. Муса замер: отступить было некуда, но и выстрелить он не мог – ружье он волочил сзади себя, в тесной норе не было никакой возможности дотянуться до него. Глаза волчицы недобро блеснули, и она зарычала. Тогда Муса решился на последнее: он так пронзительно крикнул, что волчица вздрогнула и прижалась к земле. Муса лежал неподвижно, держа

наготове охотничий нож – волчица тоже смотрела на него не шелохнувшись. Прошло часа два или три. Муса понял, что волчица не тронет его, если он не будет делать резких движений. Так он прожил с ней в норе несколько дней. Он спал коротким настороженным сном, вздрагивал и просыпался при малейшем шорохе, но видел перед собой одно и то же: два зеленых огонька ее глаз. Наверно, она понимала, что двуногое существо может погибнуть в такую стихию, и потому не гнала его из норы.

Когда буря стала стихать, волчица принялась негромко рычать: этим она как бы давала знать – иди своей дорогой, а то несдобровать тебе, человек. Муса и сам понимал, что оставаться в норе становится опасно. Теперь в любую минуту мог вернуться самец, и тогда все. Он стал массировать мышцы ног. Волчица зарычала громче и даже сдвинулась с места. Муса стал судорожно пятиться назад и через секунду выскочил. В лицо ему ударил горячий ветер. И тут же он услышал недалний волчий вой. «Самец!» – мелькнуло у него в голове. Прихрамывая, он побежал к ложине, где оставил коня. Волчица, выбравшись из норы, села и некоторое время прислушивалась к вою самца. Потом завывала сама, высоко задрав морду. Муса поспешно сел на коня – теперь он был в безопасности. Волчица пошла самцу навстречу. Они пересеклись на косогоре, сели и завывали в два голоса.

Акбалак тем временем пошевелил седыми бровями, веки его медленно поднялись. Он посмотрел на Мусу и Насыра, но, видно, не узнал их – снова прикрылись его глаза. Насыр подсел к нему ближе, взял его руку в свою, чтобы определить пульс. Акбалак начал бредить.

– Что он говорит? – спросил Муса.

Насыр прислушивался. Сначала было трудно что-либо разобрать, но постепенно становилось ясным, о чем хотел сказать он в эти минуты.

«Мне тяжело умирать, – говорил Акбалак, – но не жалею я мир, который оставляю. Он будет наказан, этот мир, попомните мои слова! Сейчас человек жадно пожирает все, рушит богатства своей земли, а завтра изуродованная, нищая земля поглотит его самого, ей ничего больше не останется сделать, ничего! Сначала мир был совершенен и счастлив как ребенок. Потом его охватила жадность к деньгам, к лучшему куску мяса. За жадностью пришла жестокость, пришла бездумность, и мир начал разрушаться – и разрушается уже много-много лет. Человеком уже много лет ведает дьявол, Бог отвернулся от человека, схватившись за голову, – Бог проиграл! Человека должна уничтожить сама же земля, его породившая, – в этом будет его спасение, это же будет и наказанием ему...»

Вот что понял Насыр из обрывочной, смутной речи старца и содрогнулся – сколько же много было в Акбалаке отчаяния и злости, будто бы сам он теперь, к концу жизни, превратился в того дьявола, о котором сейчас говорил.

Акбалак смолк, широко открыл глаза и костлявыми бессильными пальцами пожал руку Насыра:

– Ты здесь... Я решил не умирать, пока не увижу тебя.

Его пересохшие, непослушные губы шевелились с трудом. Пожелтевшее его лицо выражало страдание, муку. Алмагуль прошептала:

– Уже два дня, как отказался отец от воды.

– Насыр! – Холодный пот выступил на лице Акбалака. – Тело мое предайте морю... Это моя просьба... Остальное все решай сам... Хочу к Карашаш...

Насыр был напуган этой необычной просьбой. Не для того ли просил его Акбалак вывезти последний раз в открытое море, чтобы обратиться к Насыру с этим своим желанием? Он переглянулся с Мусой. На лице охотника тоже было написано изумление. Разве мало рыбаков утонуло в море – и разве желали они себе смерти? Как посмотрят на это люди?

Тобагабыл, догадавшись, в каком смятении могли быть сейчас Насыр и Муса, сказал:

– Отец давно предупредил нас об этом своем последнем желании... Мы не удивляемся.

– Нельзя не исполнить последнего желания нашего старшего брата, – проговорил Муса. – Сделаем все, как он велит...

И, представив, как они опускают в море саван, в котором будет тело Акбалака, подумал: «Славная жизнь его мало походила на жизнь других людей, пусть и смерть его будет необычна».

Акбалак, слышавший слова Мусы, выражением глаз и движением бровей дал понять, что доволен им. Потом потянул руку к Насыру, как бы спрашивая: а ты что скажешь, брат?

– Еще не было такого случая, чтобы мы послушались тебя, Ака, – промолвил Насыр. – Желание твое будет исполнено.

К вечеру Акбалак уже не мог говорить. Слабым шевелением пальцев подозвал к себе Алмагуль, что-то прошептал дочери. Алмагуль с плачем упала на грудь отца. Ее увели соседки. Акбалак приложил руку Насыра к своему сердцу, посмотрел на него долгим прощальным взглядом и скончался. Насыр прикрыл веки своего друга и горько заплакал.

Последнюю просьбу покойного старухи и старики, приехавшие оплакивать кончину, восприняли с ужасом. Но Насыр дал понять: не исполнить волю старца нельзя. И Шумген погрузился в хлопоты, связанные с проводами в последний путь известного на все побережье жырау Акбалака. Приехали с Коряма Игорь и его сотрудники. На другой день отовсюду стали прибывать друзья Акбалака.

– Отец может обидеться, что не сообщили ему, – сказал Игорь, и потому была отправлена телеграмма профессору Славикову. Ответная пришла в тот же день.

Покойника понесли в отдельную, специально для этого случая, поставленную большую юрту; на юрте вывесили белый флаг.

– А почему белый? – спросила Лена.

Бериш объяснил ей:

– Когда умирает пожилой человек – вывешивают белый флаг, когда молодой – красный.

Последним в этот день прибыл в Шумген рыбак с туркменского побережья Кара Богаза Ходжанепес. По его прибытию стали собираться к ужину, и Насыр объявил, что завтра все выедут в море на четырех больших лодках. Старики, давние знакомцы Акбалака, собравшиеся со всех уголков Средней Азии, прервали тихую, неторопливую беседу и согласно закивали головами.

Киргиз Кумбек, сняв мягкую шапку, проговорил:

– Разве мог я не приехать, узнав о смерти Акбалака?

– Мы не очень надеялись на это, – ответил узбек Фзули. – Слышали, что ты болеешь...

– Как не болеть в наши-то годы? Ноги совсем не ходят... Но собрался все равно – и не жалею: снова вижу всех вас. А так одному Аллаху известно – свидимся ли еще?

– Ты прав, Кумбек, – кивнул Ходжанепес. – Каждый из нас думал так же. В давние времена и мы сами, и люди наши были быстроходными...

Бекназар из Муйнака задумчиво огладил свою бороду:

– Да, короткий у стариков век, чего уж говорить: сегодня жив, а завтра...

Самый почтенный из аксакалов – жырау Кадыр с Балхаша – сменил тему разговора:

– Ходжеке, скажи-ка нам, что у вас там на Кара Богазе с плотиной? Это какая будет по счету? Решили они строить ее?

– А чего бы не решить? Они же не мозгами думают, а совсем другим местом... Теперь Кара Богазу все равно, эти собаки сгубили его навсегда. Вода ушла, остались солончаки, без конца дуют ветры – песок да соль. Люди у нас стали сильно болеть, дети мрут... Да что я рассказываю – здесь у вас все то же самое!

– А на Балхаше, думаешь, что-то другое? – с горечью воскликнул Кадыр. – Привезти бы их всех сюда да пусть бы они пожили здесь...

– Привезешь их – как же! Одним из первых, кто принялся губить Синеморье и Кара Богаз, был наш великий гениальный «ученый» Бабаев... – сказал Ходжанепес.

– Разве Бабаев один был! – перебил его Физули. – А Рашидов! А Кунаев. Тоже гениальные...

Насыр, наконец освободившийся от своих хлопот распорядителя, присел рядом с Кадыром и пока не принимал участия в разговорах. Весь сегодняшний день он провел на ногах, и сейчас у него разболелась поясница.

Насыр, чего скрывать, остался одинок. Самое, наверно, время оглянуться на прожитую жизнь. Ему не в чем укорить себя. Не суетился, не гонялся за мелочными радостями бытия. И хоть телом он время от времени отдыхал от трудов, а вот душою – никогда. Никогда мысль его не ведала покоя, никогда не дремала его душа.

Глаза его сами собой закрылись, и он уснул. А проснулся от звонкого голоса Физули, который, трогая его за плечо, говорил:

– Состарился наш Насыр-ага, точно. Только прилег – и тут же спит как убитый.

Сон нисколько не освежил Насыра – голова по-прежнему была тяжелой, ныла поясница. Он вышел во двор умыться. Лена и Сергей старательно помогали женщинам, а Игорь, подавая Насыру полотенце, сказал:

– Насыр-ага, вы предельно устали. Ложитесь пораньше спать, а с делами мы сами управимся.

Насыр кивнул в сторону Лены и Сергея:

– Огромное спасибо тебе и твоим друзьям, Икор. Да благословит вас Аллах!

Назавтра продолжали съезжаться в Шумген оповещенные о смерти Акбалака; особенно было много людей с Балхаша и Торгая. Игорь, Сергей и Тобагабыл, не зная усталости, встречали их и брали на себя дальнейшие хлопоты.

После завтрака тело Акбалака со всеми надлежащими почестями вынесли из юрты, положили на телегу и повезли к морю. За телегой шла длинная вереница провожающих. Небо было ослепительным, до рези в глазах голубым – далеко впереди синело море.

Тело мертвого человека везли к мертвому морю.

Когда лодки стали отплывать от берега, оставшиеся на берегу женщины громко заголосили. Алмагуль, раздирая себе лицо, бросилась в воду. Ее не пустили женщины. Вскоре лодки встали. Насыр принялся читать молитву. После молитвы они с Кумбеком осторожно опустили тело в белом саване в воду. Увлекаемое тяжестью привязанного камня, оно быстро исчезло в пучине.

– Прощай, Акбалак! – провел ладонями по лицу Насыр.

– Пусть морская волна будет всегда ласковой к тебе! – раздались голоса стариков. – Прощай, любимец народа!

Чайки покружили над лодками, но, не видя добычи, неторопливо потянулись прочь. Лодки долго не трогались, люди в лодках долго оставались неподвижными. Игорь тронул Насыра за плечо:

– Что если послушать нам последний кюй Акбалака? Это разрешается?

Насыр согласно кивнул, потом встал и обратился к людям:

– Перед смертью Акбалак попросил свозить его на остров Корым. Там он сыграл нам свой последний кюй. Игорю удалось записать музыку на магнитофон. Может быть, слушаем ее?

Предложение это было одобрено молчаливыми кивками.

И сильные, вольные аккорды взмыли вверх – это были звуки, которые могла издавать только домбра Акбалака. Тяжкие вздохи одинокого, обессилевшего человека слышались в голосе Акбалака. Он прощался с жизнью, этот голос; он плакал, он всхлипывал, словно дитя, этот голос, и шептал: прощай, жизнь, прощай! И хоть много еще осталось неизведанного в тебе, того, что я не успел оценить, уходя, я говорю: все равно ты была прекрасна, жизнь!

Насыр обернулся и посмотрел на то место, куда они с Кумбеком опустили тело. Ему на мгновение показалось, что вода в этом месте бурлит – как будто бы закипает. Голова знакомого черного сома показалась в том месте, где бурлила вода. Сом посмотрел в сторону лодок и исчез под водой.

На другой день старики – и туркмены, и таджики, и узбеки, и киргизы, бок о бок прожившие вместе много лет, а сейчас приехавшие, чтобы проститься с Акбалаком, – стали собираться в обратную дорогу.

– Дай нам Аллах встретиться еще, да только по другому поводу! – пожелали друг другу охотник и дехканин, рыбак и пастух. Только Кумбек и Физули решили остаться, чтобы справить семь дней. К ним присоединился и Кадыр в последнюю минуту. Они сели в тесном кругу и за разговорами стали вспоминать о прошлом.

– Рассказать вам про Акбалака? – спросил Кумбек, оглядывая стариков. Он начал свое повествование так: – Я знаком с Акбалаком с пятнадцатого года. А познакомились мы на далеком Таласе. Красив был тогда Ака: высокий, стройный, грудь широкая!

Случай, о котором я говорю, произошел на свадьбе. Известный манап Таласа Батис женил своего единственного сына. Какая это была свадьба – просто чудо! А приз на этой свадьбе выиграл певец черный Асан. Неплохой был певец, не спорю...

Батис слыл ценителем тонкого слова; ничего удивительного не было в том, что его аул частенько посещали акыны, поэты и подолгу жили у него. Он их опекал, одорял подарками. Синеморский жырау Акбалак был приглашен на свадьбу специально. Всем нравился Акбалак, но Батис просто любовался им – особенно когда начинал петь терме сильным, властным голосом.

Батис, оглядев сидевших вокруг манапов, воскликнул:

«Среди киргизов не найдется жырау, равного черному Асану Одарите же его щедро!»

К черному Асану подвели вороного аргмака, а на плечи певца набросили богатый чапан. Асан поклонился.

«Пусть твое счастье, Батис, будет так же огромно, как гора Ала-Тоо! Пусть будет удача твоим детям!»

Усмехнувшись в усы, Манап проговорил:

«А где у нас жырау Акбалак, прибывший с Синеморья? Позовите его сюда!»

Пригласили Акбалака. Батис оглядел присутствующих:

«А не посостязаться ли двум жырау – киргизскому и казахскому? Чей ум окажется острее? Чье слово тоньше?»

Манапы одобрительно зашумели:

«В самом деле, Батис! Да благословит тебя Аллах!»

«Правильно, пусть попробуют!»

«Посмотрим, выдержит ли испытание казахский жырау?»

«Если Асан-жырау согласен, я готов!» – вышел вперед Акбалак.

«Если ты готов, то и я готов!» – вызывающе ответил черный Асан. Очень уж он был себялюбивый, замечу я.

Они сели друг против друга. Песни я их подзабыл, расскажу своими словами. Асан, не жалея слов, расхваливал могущество Батиса – и как он богат, и как он красив, и все в том же духе.

Акбалак же с ранних лет отличался тем, что всегда говорил смело, высказывался открыто. Он пел не хвалу Батису, а пел о киргизской земле, о людях. А щедрому хозяину намекнул, что тот стал богатым и знатным благодаря труду людей. В его песнях был восторг, но не Батисом, а дружбой и ладом между обычными людьми – казахами и киргизами. И никого не оставила равнодушным эта песня. Манап Батис тоже был растроган искренними, мудрыми песнями Акбалака...

Если бы нашлась домбра, я мог бы спеть несколько строф, – вдруг сказал Кумбек.

Ему подали домбру, и он запел:

Шестеро рождаются от одного отца,
 Один из них обязательно родится львом.
 Когда правит народом лев,
 Люди живут в мире и согласии:
 Седлают иноходцев,
 Одеваются в шелка,
 Живут достойно.
 Но однажды,
 Когда они лишаются льва, –
 Они, считай, лишаются головы.
 Не способны остановить врага,
 Не могут верно оценить
 Ум и достоинство доброго человека –
 Не могут оказать ему чести.

Ничтожества, оставшиеся после льва,
Живя в разладе и раздорах,
Постепенно вырождаются, чахнут
И исчезают с лица земли.

Кумбек специально украсил конец песни Акбалака словами жырау Бухара. В эту трогательную, теплую минуту ему хотелось, чтобы киргизы помнили не только слова Акбалака, но и не забывали почтенного жырау Бухара.

Оставив домбру, он продолжил свой рассказ:

– И тогда взволнованный Батис обратился к Акбалаку: «Ты победил, ты соловей среди поэтов! Получи же дары от киргизов братьев!»

Щедрыми оказались эти дары! Юрта в шесть разлетов, белоногий беркут Ала-Тоо, быстрый скакун, золотая колыбель... а самое главное, что он получил, – красавицу Иссык-Куля Меруерт. Вот какие это были дары!

Акбалак молча и достойно поклонился. Когда подвели скакуна, сам Батис подошел и помог Акбалаку сесть в седло. Акбалак отправился домой. Его выехали проводить молодые киргизы – любители песен. В их числе был и я. Но не просто так я отправился провожать Акбалака, хотя, конечно, я искренне был им восхищен и хотел оказать всяческое уважение. Я был влюблен в Меруерт по уши. Она тоже любила меня, хотя объяснения у нас еще не было. На второй день пути, когда приблизился час расставания с родной землей, мы были на берегу Иссык-Куля. Меруерт попросила остановиться – умыться водой родного озера. Она умылась и долго стояла, глядя вдаль. Потом запела песню прощания. Акбалак призвал меня к себе:

«Кумбек, ты выглядишь очень печальным. Что гложет тебе душу?»

В это время Меруерт села к огню. Я никак не мог сказать Акбалаку про свою любовь – был слишком горд. Я решил высказаться языком домбры. Акбалак протянул мне свою. Вы все знаете известный кюй Темира «Влюбленный». Он начинается веселыми легкими звуками – дальше тоска нарастает и кончается он сильными, печальными звуками – болью о неразделенной любви. Я играл этот кюй самозабвенно – Меруерт плакала. Темир сочинил эту мелодию зрелым человеком, когда неожиданно в чужих краях встретил степенную женщину, жену богатого бая, и он узнал в ней ту девушку, в которую был влюблен в молодости. Все эти годы она продолжала любить Темира. Когда настала пора покидать этот аул, он сыграл ей свой кюй. Никто не понял, о чем была эта странная песня, и только ее чуткое сердце вздрогнуло. Женщина поняла все! Прощаясь, она произнесла такие слова: «Будь счастлив, Темир! Все эти годы ты тоже жил в моем сердце, живешь и сейчас. Но женщины не вольны в своем выборе – их доля страшнее судьбы узника в темнице. Прощай и будь счастлив!»

Когда я кончил играть, Акбалак положил мне руку на плечо.

«Еще никому не удавалось так точно сыграть кюй Темира! – воскликнул он. Потом перевел взгляд на Меруерт – она вытирала слезы шелковым платочком. – Не плачь, – обратился он к ней. – Я не отказался от подарка, соблюдая правила айтыса. Дома меня ждет любимая жена Карашаш, а тебя позволь считать своей сестрой на киргизской земле. Ты свободна! Ты можешь вернуться домой, Меруерт! Отдаю тебе и золотую колыбель – будешь качать в ней своих детей!» – «Уважаемый Акбалак-ага! – отвечала счастливая Меруерт. – Не знаю, чем

смогу отплатить за ваше великодушие. Но я боюсь возвращаться домой – меня опять или подарят кому-нибудь или продадут. Прошу вас, благословите нас с Кумбеком на брак». Он немедленно благословил нас, и с тех пор мы и живем с ней – душа в душу...

Такими словами Кумбек закончил свой рассказ.

После семи дней Физули вдруг принялся спешно собираться в путь: ему нужно было заехать в Семипалатинск. Насыр хотел было наказать ему повидать Кахармана, но быстро передумал. Не в его правилах было обременять людей просьбами.

– Какая нужда погнала тебя в Семипалатинск? – однако поинтересовался он.

– Не по доброму делу я еду, – ответил Физули. – Брата там моего задержали за гнусные дела... Я бы ему, сукиному сыну руки-ноги бы повырывал!

– Что такое? – оторопели старики.

– Их там целая банда. Забирали из детских домов детей будто бы на воспитание...

– И что же? – встревоженно перебил его Насыр.

– Что можно делать с сиротами? Эти сироты были бесплатной рабсилой у них в домах.

– Иа, Алла! Как же могло быть такое? Почему государство разрешало им заниматься этим?! – вскричал Насыр.

– «Государство»! – съязвил Физули. – Государству все равно, в детдоме дети или якобы на воспитании у приемных родителей. Из Семипалатинска в этом году они привезли около двухсот детей...

– Их запишут узбеками?

– Конечно. Откуда знать ребенка, кто он по национальности – узбек или казах?

Они рассуждают так: лучше казахским детям прибиться к узбекам, чем скитаться по казенным домам. Нет у них Аллаха, Насыр, нету!

Насыр был потрясен – он не мог вымолвить и слова. Срам! Что вы за народ такой, казахи? Что с вами делают? Где ваша воля? Где гордость ваша? Неужели вы не видите, что делают с вашими детьми?!

Еле сдерживая подступивший гнев и боясь обидеть близкого друга, Насыр тихо спросил:

– Разве можно построить счастье на несчастье других, Физули?

Вошла Алмагуль, внесла мягкий душистый плов и поставила перед стариками. Насыр протянул руку к блюду и замер, всматриваясь в крупный светлый рис. Каждое зерно вдруг стало увеличиваться в его глазах, и вскоре это были уже не зерна, а детские головки. Они продолжали увеличиваться – теперь это были дети. Дети ожили, стали двигаться, наполнили комнату, весь дом...

Странный туман упал на глаза Насыра. Босые, полураздетые дети шли по песку, еле переставляя тощие слабые ноги. Сколько их? Один, два, три... Многие из них безмолвно валяются с ног и остаются лежать на песке – они мертвы. Над ними кружат черные птицы. Воронье налетает не только на мертвых детей – они налетают и на живых, крыльями сбивают их с ног, и те тоже валяются на огненный песок, не имея сил даже взмахнуть руками, чтобы защитить лицо, голову, затылок...

– Несчастные, несчастные, – заплакал Насыр. – Несча...

Он не успел договорить. Из рта его пошла пена, он лицом упал в плов.

– Отравился, чем-то отравился... – издали ему слышался голос Корлан.

Черная птица, одна из тех, наверно, что клевала детей, стала кружить и кружить над его бедной головой.

X

Кахарману порой самому казалось странным, что судьба занесла его на озеро Зайсан. Кто бы мог подумать! Сколько он ездил по стране, сколько видел водных пространств, но никогда не мог предположить он, что это небольшое озеро на востоке Казахстана окажется его пристанищем. Люди здесь встретили его радушно, прониклись к нему участием и вниманием. Кахарман с первых же дней показал себя отменным специалистом, изучил Зайсан вдоль и поперек.

В семипалатинском порту, естественно, никому не хотелось расставаться с таким человеком, как Кахарман. И когда он все-таки подал заявление об уходе, Иван Якубовский пришел в недоумение. Он пригласил Кахармана сесть, выложил на стол сигареты, но закуривать не стал.

«Может, ты обиделся на меня? – проговорил Якубовский. – Только скажи честно. Готов извиниться, ей-богу». – «За что мне на тебя обижаться, Иван, с тобой мы жили душа в душу». – «И куда ты собрался?» – «Пока еще сам не решил...»

Кахарман помолчал и задумчиво продолжал: – Хочу съездить к Саяту на Каспий. Посмотрю, как у него там складывается жизнь. Хочется, Иван, наконец-то определиться, понимаешь? Я до сих пор не на своем месте... Ты не бери дурного в голову: ты-то здесь ни при чем. Твою доброту я не забуду никогда. Вот и все, что я могу сказать... Подпиши заявление, да я поеду...» – «Подписать совсем нетрудно. Но я не подпишу». Якубовский сложил лист вчетверо и сунул в стол. «Иван!..» – «Я сейчас издам приказ. Ты поедешь на свой Каспий согласно приказу. Ясно тебе?» – «Не ясно, – рассмеялся Кахарман. – Ты мне предлагаешь ехать за государственный счет?» – «Да, но у тебя будет служебное поручение по делам нашего порта. Как выполнишь задание – так сразу и подпишу. Идет?»

Кахарман не мог не понимать беспокойства Якубовского. Он сам же наставлял Кахармана: уйти с работы нетрудно, но сначала подумай, чем дальше жить – семь раз, как говорится, отмерь. Да и люди Якубовскому нужны... «Хорошо, пусть будет по-твоему», – согласился Кахарман. «Договорились. Передавай привет Саяту. До меня доходят слухи – дела у него неважнецкие. Впрочем, ты все увидишь сам. Думаю, что по возвращении ты забудешь о своем заявлении...»

И он оказался прав. Кахарман вернулся с Каспия подавленным. Началось с того, что он не обнаружил Саята на месте – тот был в отъезде. «Какого черта я приперся сюда? – недоумевал он, валяясь в гостинице Гурьева. – Мне надо навсегда уехать в какую-нибудь глушь – ничего не видеть, ничего не слышать... Это выход». Его раздражала скрипучая гостиничная кровать, казенный графин с тремя пожелтевшими стаканами на столе, какая-то аляповатая картина на стене, наверняка выполненная местным халтурщиком. Два дня он пил, посылая за водкой саятовского шофера. На третий день его пребывания в Гурьеве вернулся Саят. Он нашел своего друга в гостиничном номере обросшим, с мешками под глазами. Кахарман не признал Саята: стоял посреди комнаты пошатываясь, мутными глазами рассматривая вошедшего. Потом грубо спросил: «Тебе чего?» Саят растерялся. Кахарман сел за стол, низко уронил голову. Дальнейшее походило на бред. Кто-то как будто бы подошел к нему и вырвал бутылку, из которой он пытался наполнить стакан. Потом его потащили куда-то, как будто бы в постель. Он поднял голову и крикнул человеку: «Парень, оставь бутылку... Не шали, слышишь?» Он захлебнулся в своем бормотанье.

а человек, склонившись над ним, что-то рыкнул, и Кахарман увидел, что это не человек вовсе, а одичавшая собака-волк. Собака открыла хищную пасть и грозно зарычала. Потом собака вцепилась в бутылку зубами, опрокинула ее содержимое и сияющими глазами уставилась на Кахармана. Ему стало жутко, он закричал, он мотал головой, он закрывал голову руками, прятался в подушку, но хищная морда возникала то справа, то слева, и некуда ему было спрятаться от злого оскала.

У Саята на окраине города жил родственник. Саят попросил его приготовить хороший ужин и пришел за Кахарманом в гостиницу под вечер. В гостях, после двух чашек горячего бульона, Кахарман почувствовал себя лучше.

«Ты бы еще поел, Кахарман», – предложил Саят, все пытаясь наладить какой-то разговор, однако Кахарман был угрюм. «И чего я к нему в душу лезу», – думал Саят. Он понимал, что угнетает его друга. Да, Кахарман был одним из тех людей, для которых боль родного края становится личной болью. Сколько он ездил по стране, сколько он бился о закрытые чиновничьи двери, чтобы поведать миру о том, что же делается в его родном краю. Он ничего не добился. Теперь он сломался – это видно по всему.

Желая отвлечь Кахармана от мрачных, тяжелых мыслей, Саят спросил: «К чему ты пришел, что решил? Переедешь на Каспий? Подумай – как-никак, это ближе к родным местам. Могли бы чаще бывать в Карае...» Кахарман негромко ответил: «Не все ли равно, откуда наблюдать смерть нашего края, нашего моря? Если издалека, то, по крайней мере, не сойдешь с ума...» – «Не будешь же ты всю жизнь кочевать с места на место, – возразил Саят. – Ты что – Коркут баба? Тот шибко боялся смерти: переезжал с места на место. Чудной был человек! Куда бы он ни приехал – везде встречал могильщиков. Обеспокоенный, он спрашивал: «Для кого вы роете могилу?» Ему, как бы в шутку, отвечали: «Для Коркута». Тогда он стал размышлять и додумался вот до чего: люди потому, наверное, умирают, что везде есть земля – и везде, стало быть, можно вырыть могилу. Вместе со своим кобызом сел он тогда на ковер и поплыл по Дарье. «Кому придет в голову рыть могилу в воде?» – размышлял он. Долго он плыл по Дарье и был страшно счастлив – перехитрил смерть! Его вынесло в море, и он возликовал – теперь-то я совсем бессмертный! Совершенно успокоившись, он решил вздремнуть. Пока он спал, ядовитая змея вползла на ковер и смертельно его ужалила...»

«К чему ты мне все это рассказываешь? Ты хочешь сказать, что судьба Синеморья predetermined свыше? Так знай: не Бог, а человек день за днем приближает наше море к смерти! И никто мне не докажет обратного!» Голос Кахармана дрогнул, на лице его была написана предельная усталость. Саят понял, что разговора сегодня у них не получится. «Ладно, Кахарман, – вздохнул он. – Скажу, чтоб тебе стелили. Будет день – будет пища. Завтра поговорим еще; ты выглядишь очень усталым...» – «Я не могу спокойно разговаривать, когда речь заходит о Синеморье, – ты уж пойми меня... Ты мне pomoжешь завтра с билетом? Я еду назад...» – «Уже завтра?» – удивился Саят. «Да», – твердо ответил Кахарман. Саят понял, что решение его непреклонно.

На Семипалатинск самолет летел через Алма-Ату, что было кстати – Кахарман решил несколько дней провести в столице. Решили, что Саят позвонит Болату. Кахарман дал ему телефоны: и служебный и домашний. «Пусть не

встречает, но будет на месте. Я ему позвоню из аэропорта». Саят кивнул: «Ты не пропадай, Кахарман, пиши. А главное – держи себя в руках. Я не просто так это говорю – пока, глядя на тебя, не падаем духом и мы. Так что ты для нас – пример... Привет Айтуган». – «Будь здоров. Ребята, которых ты собрал вокруг себя, прекрасные парни. Они тянутся к тебе, ценят твою человечность, Саят, – не забывай это...»

Помолчали. А когда объявили посадку, он задержал руку Саята в своей и проговорил доверительно: «Эх, дружище! Какая-то жуткая апатия – не знаю, куда от нее бежать. Хоть в петлю лезь – держат старики да семья. С надеждой смотрю на Москву – там новое руководство; неужели и на этот раз не будет перемен? А вдруг оно все же наступит, такое время, когда нам скажут: Саят! Кахарман! – дело есть! И всюду мы с тобой будем нужны, а? Надо ждать, Саят. Наверно, надо ждать...» И Кахарман заключил друга в крепкие объятия. Тяжело они прощались – не догадываясь, что видятся в последний раз.

В самолете он думал все о том же. Три дня, проведенные здесь, на Каспии, не облегчили душу. Везде одно и то же: всюду он видит, как все разваливается, какой жалкой жизнью живут люди. Видит, что никому до этого нет дела. Куда ты идешь, родина моя, земля моя – Казахстан?! Крохотная страна Кувейт, умно продавая нефть, превратилась в богатейшее государство мира. Огромный Казахстан – разграбленный, исковерканный – нищенствует. Да разве только Казахстан – из таких разоренных пространств состоит весь Советский Союз. Как это можно понять: одна из самых богатых стран мира за какие-то пятнадцать – двадцать лет потеряла эти богатства и влачит теперь убогое существование? Ну как это можно понять?..

Болат его встретил. И хоть по казахскому обычаю желанный гость должен был остановиться у Болате дома, Кахарман наотрез отказался это сделать. Он знал, что Болат снимает две комнаты в большом доме пожилой четы приволжских немцев, что в доме грудной ребенок, – ему не хотелось стеснять друга. Потому Кахарман попросил снять для него номер в гостинице «Казахстан». Он принял холодный душ, надел свежую рубашку и на минуту подошел к зеркалу. Лицо его посвежело, к Кахарману вернулось хорошее настроение. Он усмехнулся и подзадорил свое отражение: «Не дрейфь, пробьемся!» Болат между тем накрыл стол. Было здесь и любимое пиво Кахармана. «Ну, Болат, удружил! – рассмеялся Кахарман. – Не завидую тому, у кого нет такого брата, как ты...» Болат лишь смущенно отмахнулся.

Кахарман не стал скрывать от друга, чем он сейчас подавлен: выложил ему все как на духу. Он обладал ясным умом, твердостью мысли именно потому, что каждое его высказывание было подкреплено жизненным наблюдением. Рассуждения Кахармана часто казались простыми, но вскоре становилось ясно, что это и было человеческой мудростью, мудростью Кахармана, – наблюдать за жизнью и говорить самое существенное. Вот что обычно отмечал про себя Болат, слушая друга. Он понимал, почему профессор Славиков уважал и Кахармана, и Насыра. Славиков любил их не только за то, что те были добры и человечны к нему, когда он, профессор, жил на поселении в их краях. Он уважал их именно за этот ясный ум. Наверно, он не шутил, когда говорил: «Если бы Кахарман посвятил себя науке, добился бы многого...» А кто он сейчас, Кахарман? Его ум никому не нужен – скорее он даже мешает ему. Бюрократов Кахарман не интересовал как личность – их интересуют

только те тонны пойманной рыбы, которые обеспечивает он своим руководством. Им плевать, какие жертвы приносятся в угоду плану...»

«Хватит мне жаловаться, – сказал Кахарман. – Расскажи-ка лучше о себе. Как у тебя с квартирой?» – «С квартирой у меня никак. Хожу в правдолюбцах – а таким разве дают ее быстро?» – «Жене, наверно, туго приходится?» – посочувствовал Кахарман. «Конечно. Я-то, считай, по-прежнему холостяк: по шесть месяцев не бываю дома, все в экспедициях, а она...» – «Сильно устаешь?» – спросил Кахарман, обратив внимание на осунувшееся лицо Болат. «Три дня назад вернулся с Синеморья, – стал рассказывать Болат. – Насыр-ата и Корлан-апа здоровы. Жалуются, что зимой не находят себе места без Бериша. Как же, конечно – за лето очень привыкают к нему...» – «А как там учительница Кызбала?» – с любопытством вдруг спросил Кахарман. «Здорова, как и ее коза. Прошлым летом козленка утащил сом... Мне рассказывали, что она пришла к Насыр аге с просьбой: найти козла для козы, сказала – и ей, и ее козе нужен козленок...» Кахарман невесело заключил: «Ну вот, кончилось ее одиночество. Вдвоем будут плакаться на берегу: она о сыне, а коза – о козленке». Болат не хотел заводить тягостную беседу о лаборатории по наблюдению за гибелью моря, где он служил. «Ну что же, – предложил Болат. – Теперь можно и ко мне домой? Посмотрите, как я живу. Там и продолжим наш разговор...»

Весенняя Алма-Ата после пыльных ветров Гурьева показалась Кахарману земным раем. Ему было приятно видеть, что люди здесь выглядят иначе: наряднее, не так озабочены. Во дворе, под яблоней, их встречал хозяин дома – Хорст Бастианович, с которым Кахарман учтиво поздоровался. В молодости Хорст Бастианович рыбачил на Синеморье, потом вместе со взрослыми сыновьями перебрался в Алма-Ату. Купили дом. Сыновья, когда жизнь стариков наладилась, разлетелись кто куда на заработки.

Как Болат попал к Хорсту Бастиановичу? Когда в семье Болат родился сынишка, прежний хозяин предложил молодоженам подыскать себе другую квартиру. Болат просил подождать его до весны, но черствый хозяин был неумолим – потребовал освободить угол в течение двух недель. А легко ли снять что-нибудь посреди зимы в большом городе? Как-то вечером, подавленный, брел Болат по параллельной улице, рассеянно поздоровался с каким-то стариком, который расчищал двор от снега: «Бог в помощь, аксакал!» – «Ладно бы так. – Старик оказался разговорчивый. – Ты что такой невеселый?» – «Не до веселья мне, – отвечал Болат. – Ишу, где бы снять квартиру, и чувствую, что напрасно...» – «Холостой?» – полюбопытствовал старик. «Если бы. Жена, братишка школьник, да еще вот сынишка родился – и месяца нет...» – «Молодец! – рассмеялся старик. – Богатый... – Перестав смеяться, оперся на черенок лопаты: – А сам студент?» – «Закончил университет. Сейчас работаю». Старик, сняв шапку, стал вытирать пот со лба: «Подожди, сейчас подойдет моя старуха из магазина – посоветуемся». Сердце у Болат екнуло, появилась маленькая надежда. Потом Болат предложил: «Ага, дайте ка мне лопату, а вы отдохните...» Старик махнул рукой: «Подождет, после обеда дочичу...» Но Болат сбросил пальто и принялся за снег. Хозяйке – ее звали Ириной Михайловной – очень понравился внимательный молодой человек. И Марияш понравилась, к которой она с первого дня стала относиться как к родной дочери – видно, очень скучали старики по своим детям. «Болат, тебе повезло с Марияш, – часто потом говорила она. – Цени это, мальчик мой».

У Хорста в последнее время было плохо с глазами. Он заметил Кахармана, когда тот подошел к нему совсем близко, – встал навстречу: «Оу, Кахарман жан, никак это ты, дорогой!» И старик, согласно казахскому обычаю, обнял Кахармана, касаясь своей грудью его груди. «Здравствуйте, Хорст-ага! Как вы здесь? А где Ирина Михайловна?» – «Не вылезит из больницы моя старушка: слегла зимой и до сих пор там... А я сижу и жду. Марияш мне с утра говорит: придет Кахарман, придет Кахарман... Дождался».

«Слышу я, что ты теперь в Семипалатинске, – проговорил Хорст, проводив взглядом Болата. – Расскажи-ка мне, что там за жизнь...» – «Отвечу коротко: жизнь там просто паскудная...» – «А я старею, Кахарман, и все больше думаю – неужели на чужбине придется мне умереть? – Он помолчал. – Кто же это так сделал, что весь наш народ стал распозлаться по стране, как тараканы? Кто бы мог подумать, что может случиться такое? Но кто бы ни был виноват, а твоего отца хочу похвалить, Кахарман. Остался ведь! Недавно был у меня в гостях Оразбек. Знаешь, наверно, его – Герой, понимаешь ли, Социалистического Труда. Сейчас он под Алма-Атой, председатель колхоза – рыбу они выращивают в прудах...» – «Знаю Оразбека, как же – даже бывал у него в колхозе...» – «А он, жук, ни слова, что вы виделись... Так о чем я? А! Говорим мы, говорим, и разговор, как я понимаю, он клонит к тому, что нельзя, мол, осуждать тех, кто старается жить хорошо. Вот, мол, недалеко от столицы и жить легче, и детей можно выучить – а что, мол, там, в той дыре? Подумал я и сказал ему вот что: Оразбек, я тебя называл настоящим батыром, а теперь позволь-ка мне свои слова взять назад. Как так? – опешил он. А он пугливый, ты сам знаешь: думал, наверно, что я сейчас его в мелочах начну упрекать. Ну, вроде того, что купил он сыну “Волгу”, пользуясь льготой для героев, или в чем-нибудь еще таком. Хорошо, говорю я ему, сейчас объясню. Говорю: вот у тебя орден. Повесили тебе его на грудь не за твои личные заслуги, в этом ордене заключен и труд других людей. Правильно я спрашиваю, Оразбек? Правильно, он отвечает. А раз так, говорю я, если ты герой Синеморья, то почему ты сбежал от тех людей, которые трудились вместе с тобой, почему ты не разделил их судьбу, а, Оразбек? Ему нечего было ответить, а когда стали прощаться, он умолял меня, чтобы этот разговор остался между нами... Нет, Кахарман, не уважаю я такого героя – никак не могу уважать. Ему эту звезду не на грудь надо было повесить, а на ж... – И старик засмеялся. – Послушай меня, Оразбек, говорю я ему Настоящий-то герой – Насыр. А ты – беглец. Оразбек тогда мне отвечает: подожди, Хорст, а ведь ты первым сбежал – или мне изменяет память? Ты, говорю, себя со мной не сравнивай. Я – простой рыбак, а ты человек, на которого должны равняться люди. Я нужен был, когда была в море рыба. Какая во мне нужда, когда рыба исчезла? Это во-первых. Во-вторых, я пенсионер, заслужил, можно сказать, право жить там, где захочу. В-третьих, я немец. Моя родина – Поволжье. А ты?! Во-первых, ты казах. Во-вторых – герой, едрит твою мать! Как ты это сам-то понимаешь – сегодня герой, а завтра беглец?! На войне я бы тебя первым пристрелил. Соберись, говорю я ему, в Синеморье – отвези этот орден Насыру, он достоин его, потому что люди его называют героем – слышишь ли ты? В общем, так я его отчестил, что забыл он, по какой нужде ко мне заходил. С тех самых пор не показывается у меня – боится разговоров наедине. В прошлое воскресенье вообще-то он с женой заходил к моей старухе в больницу. Сказал мне: “Насыр-ага – это особый

человек. Никогда он не жалел в работе ни себя, ни других. Вот ты упрекаешь меня Золотой Звездой, а ведь она ему ни к чему. Он сам золото!» Видишь, как отвечает: ловко да хитро... – Старик задумался и добавил: – Насыр – настоящий батыр! Дай Бог ему долгих лет и крепкого здоровья...»

Старик, зная о душевном состоянии Кахармана по рассказам Болат, не стал беречь его душу лишними расспросами. Не хотелось ему Кахарману, оторванному от родины и работы, напоминать про невеселую участь изгнанника. Он лишь подумал: «Начальникам невдомек, что рубят сук, на котором сидят. Великолепный он джигит, этот Кахарман! Ему цены ведь нет! Каким надо быть идиотом, чтобы разбрасываться таким добром! Ладно бы просто разбрасываться – а ведь все замешано на зависти, карьеризме, на жестокости, на своих мелких интересах, словно не люди они уже, а крысы... И от этого страдает дело, страдает народ, страдает природа, страдает все – а им до этого нет никакой заботы!»

Да, с каждым годом становилось старику жить труднее – никак он не мог понять, что творится вокруг...

Кахарман отметил, что Хорст в последнее время выглядит не шибко веселым. Много теряет человек, навсегда распрощавшийся с родными краями, с привычным укладом жизни. Городская жизнь малоподвижна, круг общения невелик. Все это, конечно, накладывает отпечаток на самочувствие человека – он быстро хиреет в городе, ранее обычного приходит к нему старость. А ведь все было бы по-другому, вернись сейчас Хорст на Синеморье.

Вскоре из дому вышел Болат. На плече у него было свежее полотенце, а в руках кувшин с теплой водой и таз.

– Моем руки – и к столу!

Хорст ополоснул руки и лицо и спросил Кахармана:

– А как в Семипалатинске – придерживаются казахских обычаев? Наверно, нет – они там ближе к русским как будто бы... Не одобряю – людям надо хранить свои обычаи везде...

– Спасибо, Болат жан. – И он протянул полотенце Кахарману.

В дверях их приветливо встречала Марияш:

– Давно не видела вас, Кахарман-ага. Проходите...

Она посторонилась, чтобы пропустить гостя, но Кахарман предложил ей пройти первой.

– Вижу, Марияш, все у вас хорошо с Болатом. Ну а дети – здоровы?

– Слава богу. Я ничего особенного не приготовила, Кахарман-ага, была в больнице у Ирины Михайловны, только что вернулась. Так что уж извините – все на скорую руку...

Старик любовно оглядел молодоженов и сказал вдруг грустно:

– Как мы будем жить со старухой, когда вы получите квартиру, ума не приложу... Привыкли мы к вам.

Кахарман оглядел комнату и заметил в ней много упакованных вещей. «Может, они затеяли ремонт?» – подумал он. От внимания Кахармана не ускользнуло, что Марияш и Болат были чем-то озабочены.

Болат встал:

– Дорогой Кахарман-ага, милости просим в наш дом...

Но не это он хотел сказать, Кахарман чувствовал. Под его испытующим взглядом Болат махнул рукой:

– Кахарман-ага, вы знаете брата моего Кадыра. Не раз он бывал в Караое, часто гостил у Бериша – в доме вашего отца. Он поступил в университет, а после первого курса ушел в армию. Три дня назад его жена родила сына – а живет она вместе с нами. Мы тут же дали Кадыру телеграмму, то-то, думали, будет парню радости. Когда я вернулся домой с работы – застал Марияш и Хорст-ага в слезах. Оказывается, в тот же день они получили сообщение из Афганистана... – Болат замолчал, его душили слезы. – Он сражался до последнего патрона. Его пред- ставили к ордену. До этого у него было две награды. Только кому они нужны, эти железяки? Завтра привезут его тело.

Марияш расплакалась:

– Не знаем, как сообщить жене... Утром ходила к ней – спрашивает, нет ли вестей от Кадыра. А у меня язык не поворачивается сказать. Она такая счастли- вая... Вызвали ее родственников.

Кахарман сидел пораженный.

Он не мог выдать из себя ни одного слова сочувствия. Лишь изумился стойкости Болата: пробыл с Кахарманом весь день и ничем не выдал своего горя. Понимая, что дальше молчать нельзя, он заговорил. Но слова были какие-то общие, натянутые. Ему стало неловко. Вдруг его беды показались ничтожными перед горем: смертью молодого, полного жизни парня. Да, теперь в поддержке, в сочувствии нуждался не он, а Болат. Да и Хорст-ага попросил его об этом, шепнул:

– Надо тебе обязательно побыть с ним – тяжело парню. Когда он узнал о тво- ем приезде – он заметно отвлекся от своих тяжелых мыслей, очень ждал тебя...

Вечером приехали родственники, роженицу забрали из роддома. На следую- щий день Хорст и Ирина Михайловна не отходили от Болата ни на шаг. Все эти дни в доме было много плача и стенаний. Молодая женщина была безутешна, а он, Кахарман, глядя на нее, прижимавшую к груди младенца, с новой силой переживал случившееся горе. «Не будет покоя в родительских домах до тех пор, пока не будут выведены из Афганистана наши войска, – думал Кахарман. – Кто сосчитает, сколько погибло молодых ребят на чужой земле? И кто ответит – за- чем? А ведь среди них много парней из Караоя, из Шумгена... Неудивительно, что кладбища в Синеморье разрастаются с катастрофической быстротой – ко всему еще добавляется и этот проклятый Афганистан...»

Кахарман подсел к молодой матери и стал ее утешать:

– Что суждено, того не миновать... Тебе надо собраться с силами и жить дальше. Тебе надо вырастить и воспитать ребенка – это твой долг...

Женщина, утирая слезы детской пеленкой, ответила:

– Все это я понимаю, Кахарман-ага. Если бы не ребенок – я, может быть, и покончила бы с собой. Пусть хоть это будет мне радостью...

– Что уж делать – горе и счастье в жизни ходят рядом. Береги себя...

И хоть он понимал, что трудно сейчас подобрать слова, которые могли бы успокоить молодую мать, но те слова – не очень умелые, которые он сказал, он не мог не сказать.

Через несколько дней Кахарман с Болатом отправились покупать билет на самолет. Кахарман возвращался в Семипалатинск. В центре города, где распола- гались республиканские министерства, они неожиданно встретились с Акатовым. Вернее, Акатов их окликнул сам, немало удивившись:

– Кахарман, откуда ты здесь взялся? Хочу тебе напомнить – хоть ты и известный человек, а здороваться со старшими все-таки надо первому.

Так шутливо выговаривая, он обнял Кахармана.

– А кто же это с тобой? Лицо знакомое, но припомнить не могу...

Кахарман напомнил Акатову, где он мог видетсья с Болатом.

– Значит, ученик Славикова. – Акатов пожал руку Болату. – Очень приятно. Как твои родители, Кахарман?

Кахарман отвечал – живы и здоровы.

– Чего и следовало ожидать. У Насыр аксакала крепкая кость – как же, помню. Храни его Аллах. Будешь у них – передавай привет, низко кланяйся.

– Он частенько вспоминает вас, – сказал Кахарман уже теплее. – До сих пор кручинится, что мы из Москвы вернулись ни с чем. Даже ваша решительность и смелость нам не помогла...

И хоть Кахарман говорил совершенно искренне, и Акатов знал это, но такое направление разговора ему было как-то неприятно.

– Ладно, не будем об этом – слишком уж лестно думает обо мне аксакал. Как дела в Синеморье? – обратился он поспешно к Болату.

Болат коротко ввел министра в курс дела: многие рыбацкие аулы разваливаются, синеморские рыбаки разъехались по всей стране в поисках работы – другие теперь занимаются кто выращиванием скота, кто – рисоводством. Акатов все это слушал без особого энтузиазма.

– Нет, не желаю я добра тем людям, которые погубили Синеморье, – пусть их ждет похожая участь! Сейчас как будто бы наступило время беспощадно бороться с такими людьми – но мы почему-то медлим. И так везде! Во всех нас сидит прежний раб, он заставляет нас осторожничать. Почему это так – не могу понять. Мы так долго ждали этого времени, так надеялись – и вот теперь... Неужели всех нас, старых, трусливых, жалких рабов, надо уничтожить физически, чтобы выкорчевать это рабство?!

Он смолк, переводя взгляд с Болата на Кахармана, потом сказал более спокойно:

– Легендарный Кахарман, чего ты молчишь?

– Я уже давно не живу в тех местах – что я могу сказать? – усмехнулся Кахарман.

– Знаю, что не по своей вине, тебя выжил первый секретарь обкома. Этот невежда – я бы его и в конюхи не взял. А он – секретарь, подумать только! Но с ним нелегко справиться даже сейчас. Я одного сейчас не могу понять, Кахарман, почему ты не связался тогда со мной? Ладно, допустим, не обязательно приезжать. Но позвонить же мог...

Кахарман побагровел, Акатов улыбнулся и махнул рукой:

– Понимаю, нам легче умереть, чем просить. Где ты сейчас? Чем занимаешься?

– В Семипалатинском порту. До этого работал на Балхаше. Сейчас возвращаюсь с Каспия. Думал там остаться, да понял, хрен редьки не слаще. Везде одно и то же. Смотрю и не могу понять: я такой муторный, что не могу себе найти места, или жизнь кругом такая муторная... – Потом он извиняющимся тоном добавил: – Хотел я все-таки зайти к вам...

– Ты можешь это сделать не откладывая: сегодня или, скажем, завтра. По-толкуем. А сейчас я поспешу – тороплюсь в Центральный Комитет. – Акатов протянул руку для прощания. – В Целиноград приезжает Горбачев, – добавил он.

– Когда он приезжает? – встрепенулся Кахарман.

– На днях, буквально на этой неделе. Не спросил о точной дате.

Кахарман весь загорелся. Акатов тронул его за рукав, он верно угадал мысли Кахармана.

– Вряд ли вам там удастся встретиться с высшим начальством. Практически это невозможно. Как бы не оказались напрасными хлопоты...

– Хлопоты не пугают меня. В конце концов, я столько хлопотал – пусть это будет очередной попыткой.

Кахарман заявил:

– Семипалатинск отпадает. Билет берем на Целиноград. Вдруг нам повезет поговорить с ним лично? – И заторопился.

Кахарман весь преобразился – равнодушия и замкнутости как не бывало. Болат с радостной надеждой наблюдал изменения, произошедшие в нем.

– Если не удастся поговорить с ним лично, то по крайней мере надо будет передать ему письмо – как ты думаешь? Езжай домой и привези все документы. Сейчас будем писать письмо. – И Кахарман почти вытолкнул Болат за дверь. А сам ополоснулся под душем, сел в кресло и задумался.

Он понимал, что представившийся случай может решить многое, очень многое. Вернуть морю большую чистую воду, наполнить его до прежних берегов – вдруг сейчас, именно сейчас он понял, что на это положит остаток своей жизни. Ни о чем бы он не печалился, если бы это произошло: всё остальное мелочи, во всем остальном люди разберутся на местах. Да-да, все-таки он ошибался: не время ему сейчас скитаться по Казахстану – время бороться! «Но что наворочено нами, если обернуться назад: горы дерьма! Много лет мы хвастливо заявляли, что семимильными шагами летим вперед – а получалось: пятились! И чем громче кричали о своих достижениях – тем сильнее все у нас разваливалось. Мы просто вошли в экстаз, в угар – чтобы не видеть того, что мы давным-давно в дерьме. Иногда, правда, мы говорили о каких-то нелепых затруднениях, о каких-то ошибках, опять же случайных, сиюминутных. И теперь получилось так, что ошибки эти оказались на самом-то деле грандиозными; и не временными – а вечными. Получилось так, что все они слились воедино и вся наша жизнь – одна грандиозная и вечная ошибка. И бежать от нее некуда. Некуда!»

И все-таки, несмотря на эти свои мысли, которые в другую минуту ввергли бы его в знакомое отчаяние, настроение у Кахармана было совершенно иное, чем в предыдущие дни.

Вернулся Болат, и они сели писать письмо. Закончили только к утру, молча напились горячего чаю.

Болат потянулся и пошутил:

– Сон оставим для Целинограда.

– Сон – да, а вот бороду придется оставить в Алма-Ате, ступай побрейся, – ответил ему в тон Кахарман и озабоченно добавил: – Тебе не показалось письмо слишком длинным – может, сократим?

– И это оставим для Целинограда.

– Хорошо. Тем более что время поджигает. Иди в ванную, я после тебя...

В самолете они уснули быстро – сразу, как только он набрал высоту. Кахарману снился сон, снился дом, снился отец.

Насыр сидел на лавочке у дома и спрашивал Кахармана:

«Ты на кого обижен, ответь мне. На жалкую кучку начальников, которые выжили тебя? Допустим. Но люди-то по-прежнему уважают тебя – что же ты не показываешься в родном ауле?»

Коротко подстриженные усы и борода отца были совершенно седыми, глаза на его худом темном лице слезились.

Теплая волна нежности – далекой, уже почти забытой, детской – стала расpirать грудь спящего Кахармана так, что он был готов заплакать.

Грузная мать, двигаясь не то чтобы неторопливо, а скорее тяжело, внесла в дом самовар и позвала отца. Отец сидел не шелохнувшись, будто не слыша ее.

«Насыр, чай стынет, – повторила мать. – Ну что ты сидишь целыми днями, уставившись в небо, словно дурак! Не посылает Аллах дождя – ну что тут поделаешь? Слышишь ты меня или нет?»

«Видишь, как мать постарела. Думали, что после Каспия завернешь к нам, побудешь с нами денька два-три. Глядели с ней в окно, глядели – все глаза проглядели. А тебя нет и нет.

Старики да старухи, – продолжал корить его Насыр, – молятся о твоём благополучии, желают тебе удачи в делах. Видел бы ты, как они готовились к твоему приезду. Муса зарезал барашка, а когда стало ясно, что ты не придешь, зашел он ко мне и говорит: знать, очерствело сердце Кахармана. От Каспия до нас – рукой подать, а не захотел приехать. Если уж такой разумный и совестливый человек, как Кахарман, поступает так – совсем, значит, портятся люди. А он еще так сказал – значит, забыл Кахарман о бедственном нашем положении. Значит, как и другие, он подался в чужие края за лучшей долей. Типун тебе на язык, ответил я. А доказать, что это все не так, никак не могу. Чуть со стыда не сгорел. Газиза гадала на тебя – сказала, что на твоём пути стоит серьезная преграда. А Муса всех соседей пригласил и угостил тем барашком, который был предназначен для тебя. Я на людях держусь, но душа моя изболелась за тебя: все время ты мне снишься – в какой-то рваной одежде идешь по выгоревшему лесу. Ты идешь один, а я всегда думаю, когда вижу этот сон: где же твои друзья, ведь было их у тебя немало? Такое чувство, что ты идешь по пустыне, и идешь уже много-много дней».

Опять послышался зов матери: «Оу, Насыр, сколько же тебя ждать? Одной мне чай не в радость. Ну чего ты все сидишь, уставившись в небо: была бы милость божья – давно бы грянул дождь; отвернулся он от нас – давно это пора понять».

Насыр повернулся на зов, что-то пробурчал, потом взял кувшин с теплой водой, который стоял подле, и стал полоскать рот. «Пойду, Кахарман, – сказал он. – Старуха зовет...»

...В это самое время его в плечо толкнул Болат, и Кахарман открыл глаза. Самолет, завершая посадку, бежал по бетонной полосе. Кахарман закрыл глаза, но не возникли больше перед ним ни отец, ни мать, ни их старенький кирпичный домик.

Свободных мест в гостинице не оказалось. Судя по тому, как вычищались улицы, красились заборы и дома, большой гость должен был прибыть со дня на день. Болат стал звонить своему хорошему знакомому. Тот с радостью согласился их приютить: его жена была сейчас как нельзя кстати на двухмесячных курсах в Алма-Ате. В Целинограде они прожили три дня. Несколько раз переписали свое письмо от руки, потом срочно отдали перепечатать его машинистке за двойную цену. В ночь, когда всем уже стало известно о приезде Горбачева, Кахарман несколько раз просыпался, боясь опоздать. Под утро вышел на балкон, закурил –

решил больше не ложиться. Он возлагал большие надежды на сегодняшний день. Почему-то теперь он был совершенно уверен, что ему не удастся лично пробиться к Горбачеву. Акатов был прав. Однако сильная надежда, поселившаяся в человеке, как правило, делает человека одержимым: какой-то маленький шанс, что ему удастся хотя бы передать письмо, все-таки существовал. «Да поддержит меня дух моего исстрадавшегося моря, да поддержат меня духи предков!» – сказал он громко.

Но чуда не произошло. Генеральный секретарь мелькал вдалеке от них – за спинами, за головами людей, за машинами. Кахарман рвался вперед, и это, наверно, показалось подозрительным парню в штатском костюме. Он резко, незаметно ткнул Кахармана в грудь. Удар был непростой – Кахарман это понял, когда заныла вдруг вся грудная клетка после такого удара. Тут же две пары цепких рук взяли его под локти и вытащили из толпы.

– Ребята, чего вам надо? – спросил Кахарман, поворотом головы пытаясь углядеть хотя бы лица штатских. Это были плотные, крепкие люди, на голову выше Кахармана. Они ничего не ответили, лишь коротко кивнули подоспевшим милиционерам и передали им Кахармана. Так же молча вернулись назад и встали на свои места в толпе. Болат, ничего не понимая, бежал за милиционерами и Кахарманом вслед.

– Куда вы его? Что он сделал такого, чтобы хватать его?!

Служивые толкнули в машину и Болат. Когда машина остановилась у отделения милиции, Кахарман понял, в чем его будут обвинять – нарушение общественного порядка. На втором этаже задержанных развели по разным комнатам. Молодой человек, разговаривавший по телефону, жестом указал Кахарману на стул. На этом парне был тоже новенький костюм, белоснежная рубашка и узкий галстук. Он положил трубку и внимательно, холодно посмотрел на Кахармана.

– Значит, безобразничали на площади?

– Я ничего не нарушал...

– Странно. В таком случае вы бы сейчас не сидели передо мной.

– Получается, что мне нельзя поговорить с Генеральным секретарем?

– Вам нельзя.

– А кому можно?

– Вам что, не к кому обратиться в республике?

– Не к кому – в том-то и дело! Они отмахиваются от меня уже много лет!

Молодой человек встал, обошел стол и доверительно наклонился к нему, положив руку на спинку стула:

– А вы смелый человек, даже слишком смелый.

– Я не смелый, я отчаявшийся человек, – ответил Кахарман.

Молодой человек взял со стола письмо, которое милиционеры отобрали у Кахармана, и стал просматривать его.

– Это что – заявление?

– Вы не видите? – Кахарман перестал скрывать свое раздражение, слова его прозвучали резко.

Ни один мускул не дрогнул на лице молодого человека.

– Изложите, пожалуйста, суть вашего заявления... – В это время в комнату вошел другой милиционер и протянул молодому человеку какую-то бумагу. – Я слушаю вас. – И он окинул взглядом листок, который ему протянул милиционер.

– В заявлении говорится об ужасающем положении Синеморья. Вы что-нибудь слышали об этом?

– Слышал. Но на море бывать не приходилось.

– Хорошо, что хоть слышали.

– Вы в самом деле отчаявшийся человек?

– Да. Сломленный, потерявший всякую надежду. – Злость Кахармана нарастала.

– Вместе с тем вы смелый человек, – повторил свою странную фразу молодой человек. – За последнее время вы сменили много работ. Задумали уволиться и из Семипалатинского порта. Как же это все так получается, а, Кахарман Насырович?

Кахарман вовсе не удивился тому, что на листке бумаги, который принес милиционер, были помещены все сведения о его жизни. Эта деловитость ему даже понравилась. «Эх, – подумал он, – работали бы в хозяйстве с такой быстротой». И он позавидовал:

– Какой быстрый, четкий стиль работы. Мне это очень нравится.

Молодой человек согласно кивнул, поняв, о чем речь.

– Вы не ответили на мой вопрос.

– Простите, я даже не знаю вашего имени, чтобы обратиться к вам по-человечески...

– Сергей Петрович, – он протянул сигареты, – курите, если хотите...

– Благодарю вас, Сергей Петрович. – Кахарман с удовольствием затянулся. – В такие минуты каждая затяжка кажется счастьем. Откуда вы родом, если не секрет?

– И все-таки расскажите-ка лучше о себе, – ответил Сергей Петрович, стряхивая в пепельницу пепел.

– Какой в этом смысл, Сергей Петрович? Что моя личность в сравнении с той бедой, которая обрушилась на наше море, на наш край? Вы правы, за последние годы я часто меняю работу. Меня носит по всей республике. Раньше думал: не все ли равно, где жить человеку? Молод был, многого не понимал. В Синеморье я жить не могу – нет никаких сил смотреть на то, как издыхает море. Уехал, надеясь, что буду бороться за него. Борьбы не получается – бьюсь головой об стену. В Целиноград приехал с надеждой: думал поговорить с Генеральным секретарем или хотя бы вручить ему это мое заявление. Спасибо вашим ребятам – очень мне помогли! – сказал он с горькой иронией и замолчал. Сигарета потухла, пока он говорил, но он не стал прикуривать, а смял и бросил ее в пепельницу, – Наверно, это была моя последняя попытка, Сергей Петрович. Видать, не судьба. Сейчас ко мне снова вернулась прежняя мысль – я знаю: море погибнет. Вот и все, что я хотел сказать. А сведения о моей личной жизни – у вас в бумажке. Если заинтересуетесь – прочитайте...

– Откуда вы прибыли в Целиноград?

– Из Алма-Аты.

– Теперь снова туда?

Кахарман задумался. Ехать в Семипалатинск или все-таки навестить родителей? Ехать домой с пустыми руками не хотелось, а деньги у него были на исходе.

– Почему это вас интересует? – спросил Кахарман.

– Вы сегодня же с вашим другом должны покинуть Целиноград.

– Почему так категорично? Я не понимаю.

– Вам и не следует этого понимать. Исполняйте то, что вам говорят. Итак, куда вы решили ехать?

Кахарману захотелось вдруг, чтобы сейчас была с ним Айтуган. Он бы зарылся ей в колени и выплакался бы, рассказал бы о всех своих неудачах, о том унижении, которое он переживал сейчас. Он не уважал мужчин, которые плакали или вообще жаловались на жизнь, но в эту минуту он, пожалуй, понял бы их. Ни парням в штатском, ни милиционерам, ни этому Сергею Петровичу не был нужен какой-то человек Кахарман, какое-то там обреченное море, горе каких-то там людей, влачащих жалкое существование на его солончаковых берегах...

– Итак, что вы решили? – снова был ему задан вопрос.

– Я отправляюсь в Семипалатинск.

Сергей Петрович вышел.

«Интересно, куда отправится Болат? Наверно, вернется в Алма-Ату».

– На Семипалатинск есть вечерний рейс, – сказал, возвратившись, Сергей Петрович. – Сотрудники милиции проводят вас до самолета.

– А где мой друг?

– Он летит в Алма-Ату. Самолет на Алма-Ату тоже вечером. Так что еще побудете вдвоем. Он ожидает вас на улице, у отделения. – Сергей Петрович сделал паузу и добавил мягче: – Не обижайтесь на нас, Кахарман Насырович, желаю вам счастливого пути. – Он протянул руку для прощания. – А ваше заявление останется у нас.

– Прощайте, Сергей Петрович.

– Подождите! – Сергей Петрович окликнул Кахармана уже в дверях. – Я вам вот что скажу. Вы – благородный человек. Если удастся, то, возможно, ваше письмо будет передано тому, кому оно адресовано...

Кахарман остолбенел: он верил и не верил. Он лишь пробормотал:

– Вы тоже благородный человек. Будьте здоровы...

С ними отправился лейтенант. Взяв два билета, он уехал, попросив друзей никуда не отлучаться из аэропорта.

Вскоре он задремал на лавочке – давала себя знать ночь, проведенная без сна. Болат поинтересовался:

– Каха, каковы ваши планы на дальнейшее?

– Не знаю, – откровенно признался Кахарман, рассеянно разглядывая пустой бумажный стаканчик. – Я сделал все, что мог. Осталось ли в Москве или Алма-Ате заведение, где бы мы не побывали? Наши заявления побывали на съездах, на многих пленумах. Мы – бессильны. Стена непрошибаема.

Самолет на Алма-Ату вылетал на два часа раньше, чем семипалатинский. Болату было больно прощаться с Кахарманом, Кахарман обнял его, прижал к груди и прошептал:

– Всего тебе хорошего. Будь здоров!

– Справлю сорок дней Кадыру и отправлюсь на Синеморье. Проведу там лето и осень, – сказал Болат.

Кахарман почувствовал, что Болат чего-то не договаривает.

– Ты что-то скрываешь от меня. Так не годится. Выкладывай все начистоту.

Болат помолчал.

– Мы с Игорем тогда, на Балхаше, не сказали вам, Кахарман, на Синеморье создана лаборатория, которая наблюдает за процессом... как бы это выразиться...

– Наблюдает за смертью моря.

– Да, в двух словах это звучит именно так...

– Я знаю об этом от Бериша. – Кахарман снова обнял Болата.

Простившись с Болатом, Кахарман вернулся на знакомую лавочку, откинулся, вытянул ноги и прикрыл глаза. Он одинок и заброшен, точно путник в пустыне, упавший в засохший колодец. Кто услышит его крик из этой глухой, безнадежной ямы? Сам того не заметив, Кахарман уснул на лавочке – и мрачное его видение обернулось гнетущим сном. Он упал не в колодец, он упал в каменистую бездну. Падая, он понял, что из этой бездны ему не выбраться никогда. Было, однако странно, что, упав, он не почувствовал боли. Ощупав голову, ноги и руки, он нашел их невредимыми. Он поднял лицо вверх, и ужас ледяным холодом сковал ему душу – ему показалось, что падал он в эту бездну вечность, так было велико расстояние до верхнего края пропасти, с которого он сорвался и полетел вниз. Он закричал от страха диким, безумным голосом...

Кахарман проснулся в липком поту. Аэропортовские динамики объявляли посадку на семипалатинский рейс. Кахарман торопливо допил водку и, полусонный, полупьяный, присоединился к спешащим людям. В самолете он сразу же откинул сиденье, застегнулся ремнем, полагая, что мгновенно уснет, но сон почему-то не шел к нему. Тогда он стал перелистывать оставленные старые газеты.

«БЕЛАЯ СМЕРТЬ» НА ЧЕРНОМ КОНТИНЕНТЕ. СПЕЦИАЛИСТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ: наркомания принимает все более широкие масштабы в Африке. До недавних пор это зло XX века в основном обходило регион стороной.

ФРГ. ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА, ПРОМЧАВШЕГОСЯ ПО СТРАНЕ. Ветер, максимальная скорость которого достигала 200 километров в час, повалил тысячи деревьев в южной и западной части ФРГ.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОВЕЛИ В СУББОТУ НА ПОЛИГОНЕ В ШТАТЕ Невада очередное ядерное испытание. Мощность взрыва под кодовым наименованием «Ларедо» составила от 20 до 150 килотонн. Нынешнее испытание стало 679-м со времени открытия полигона в Неваде в 1951 году.

ТРАГИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ ОБ АВАРИИ НА ЛИНКОРЕ ВМС США «АЙОВА» неподалеку от берегов Пуэрто-Рико, вызванной мощным взрывом, с прискорбием воспринято в США. Комментируя сообщение о катастрофе, американская и мировая печать с тревогой отмечает, что и в мирное время высокая активность военно-морских флотов чревата непредсказуемыми последствиями.

ВИРУС СПИД УГРОЖАЕТ И КИТАЮ. НЕОЖИДАННЫЙ РОСТ ЧИСЛА ОБНАРУЖЕННЫХ носителей вируса СПИД в Китае требует решительных действий.

ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД № 159 «АВРОРА» СООБЩЕНИЯ ЛЕНИНГРАД – МОСКВА потерпел крушение вблизи станции Бологое. При крушении погибло 25 человек. Травмировано и доставлено в больницы 107 человек, 3 из которых скончались.

23 ПОГИБШИХ, ОГРОМНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ – ВОТ ЧТО НАДЕЛАЛА буря, налетевшая на Францию в субботу. Скорость ветра достигла 170 километров в час. Монмартр, расположенный на горе, пострадал больше других. Вековые деревья вырваны с корнем. Аккуратный Булонский лес превратился в лесоповал.

КАНАДА: ПОЖАР ДЛИЛСЯ 17 ДНЕЙ. КАНАДСКИМ ПОЖАРНЫМ УДАЛОСЬ НАКОНЕЦ ПОГАСИТЬ ПЛАМЯ НА ГИГАНТСКОЙ СВАЛКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ покрышек в городе Хагерсвилл.

В 6 ЧАСОВ 57 МИНУТ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ в районе Семипалатинска произведен подземный ядерный взрыв мощностью от 20 до 150 килотонн.

КАЖДЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ ОТМЕЧАЕТСЯ БЕСЧИСЛЕННОЕ МНОЖЕСТВО природных явлений: 100 тысяч гроз, 10 тысяч наводнений, тысячи землетрясений, пожаров, оползней и ураганов, сотни извержений вулканов, тропических циклонов. За последние 20 лет в результате природных катаклизмов погибли около 3 миллионов человек. Около миллиарда испытали на себе пагубные последствия стихийных бедствий, остались без крова или же столкнулись с другими опустошительными последствиями.

«50 ЛЕТ ПРОЖИЛ Я В АТМОСФЕРЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ, ВОЙН И НЕ-НАВИСТИ. Несколько лет из них носил военный мундир. Теперь настало время разломить хлеб пополам. Брюс Ф. Нарби Флорит, штат Западная Австралия».

«У ВАС РОЖДАЛИСЬ ВЕЛИЧАЙШИЕ В МИРЕ КОМПОЗИТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ, писатели, ученые и врачи, но вам не удавалось произвести на свет людей, готовых принести вам свободу. Ныне, с приходом Горбачева, это изменилось.

Р. Бронимэн. Кингс Ленгли, штат Новый Южный Уэльс».

Кроме прочего, газеты сообщали о большой детской смертности в Африке.

Кахарман усмехнулся. Как будто бы у нас эта смертность меньше! Кто возьмет на себя ответственность за то, что во многих районах Средней Азии процент смертности детей превышает общесоюзный вдвое? Когда профессор Славиков с гневом говорил, что Советский Союз по детской смертности занимает первое место в мире, Кахарман опешил и сначала не поверил. Теперь это известно всем, Славиков был прав. В который раз он был прав!

Семипалатинский аэропорт не принимал, сделали посадку в Усть-Каменогорске. Беда не ходит одна, ко всему теперь еще добавился этот Усть-Каменогорск, в котором не было у него ни родных, ни знакомых. Он вышел на улицу покурить. Ночь была мягкая, ласковая – после духоты в самолете она казалась прохладной. У здания аэропорта остановилась белая новехонькая «Волга». Из машины выскочило трое длинноволосых парней – одеты они были модно, даже экстравагантно. Движения их были уверенны: легко можно было в них узнать людей, которые не знают нужды, которым никто ни в чем не отказывает.

Пинком ноги они открыли дверь и направились к администратору. Администратора не было на месте, но из комнаты дежурного вышла красивая молодая женщина и направилась к ребятам. Было понятно, что она их ждала. Женщина и вошедшие по-свойски приветствовали друг друга. Сквозь стеклянные двери Кахарман смотрел на молодежь: они, оживленно жестикуюлируя, о чем-то разговаривали. Кахарман с интересом наблюдал за ними поначалу, но интерес его вскоре пропал. Покуриив, он направился в зал. Ребята шли к выходу, в дверях Кахарман с ними столкнулся. В одном из них он без труда узнал Кайыра.

Кайыр с радостью признал Кахармана:

– Откуда вы здесь, Кахарман-ага? Приветствую вас... – И Кайыр протянул ему обе руки. Он был худощав, быстр в движениях, лицо его светилось радостью, особенно блестели глаза. Двое, что были с ним, отошли в сторону, закурили.

– Откуда я здесь? – ответил Кахарман. – Вот, знаешь ли, заблудился...

Кайыр не мог понять, в шутку он это или всерьез. Он рассмеялся, истолковав слова Кахармана как-то по-своему:

– Ну, если заблудились вы, Кахарман-ага, то что остается нам, простым смертным? Сам Аллах, значит, велел нам блуждать впотьмах, чем мы исправно и занимаемся... Вы говорите загадочно, Кахарман-ага...

– Значит, мне нельзя блуждать? – Кахарману стал интересен такой поворот разговора.

– Категорически нет! Ваша жизнь должна быть безошибочной. Не забывайте, если с вами что-нибудь случится – Синеморью конец.

Оставив в некоторой озадаченности Кахармана этим загадочным ответом, Кайыр сказал в другом тоне:

– Вспомнил! Четыре года назад я занимал у вас деньги в Москве, а вот в Усть-Каменогорске рассчитываюсь... Пикантно, не правда ли?

Он вынул из кармана сто пятьдесят рублей и протянул Кахарману:

– Пусть с опозданием, но возвращаю...

– Я же не в долг тебе давал, – смутился Кахарман.

– За красивые глазки, понимаю. А я это брал в долг. – Кайыр почти что насильно затолкал ему деньги в карман.

Кайыр, которого Кахарман знал ловким, хитрым дельцом – за что и недолюбливал его, – вдруг увиделся ему в несколько другом свете. А тот, словно догадавшись, что в сердце Кахармана шевельнулось какое-то благорасположение к нему, лукаво улыбнулся:

– Э, Каха, чего мы все стоим? Давайте жить веселее, пойдемте, сегодня вы мой гость. – Он указал на ребят. – Вместе с ними лечу в Москву...

– А нас не принял Семипалатинск. Приземлились здесь и ждем.

– До утра не взлетит ни один самолет – это я говорю вам совершенно компетентно. Так что идемте с нами.

– Ну а вдруг? – засомневался Кахарман. – Тогда я останусь с носом. До чертиков надоело мотаться по республике, устал; соскучился по дому...

Кайыр подозвал одного из своих дружков и послал его узнать о семипалатинском рейсе.

Кахарман стал интересоваться жизнью Кайыра:

– Ты, кажется, где-то учишься... А живешь где – здесь, в Усть-Каменогорске?

Кайыр ловко щелкнул в сторону окурков, Кахарман почувствовал запах анаши. Теперь он понял причину неестественного блеска в глазах Кайыра.

Кайыр не стал прямо отвечать на вопрос земляка:

– Неглупому человеку всегда найдется местечко в этой жизни. Жизнь течет своим ходом, люди рождаются и умирают – и без муллы им не обойтись. Особенно часто бываю на Зайсане... Кстати, на Зайсане много рыбаков из наших родных краев. Помните ли вы уважаемого Беркимбай хаджи? Он недавно умер. Справили семь дней, до сорока дней надумал слетать в Москву развеяться и сделать кое-какие дела...

– Зайсан, – задумчиво произнес Кахарман и подумал: «Название-то какое прекрасное!»

Вернулся дружок Кайыра и сказал, что до утра никаких вылетов не ожидается.

– Идемте, Кахарман-ага. – Кайыр взял под руки Кахармана и стал увлекать в машину. – Чудесно проведете время, расслабитесь от души...

Его с подчеркнутым уважением посадили на переднее сиденье, Кайыр познакомил со своими друзьями. В салоне стоял стойкий запах анаши.

Кахарман обернулся к Кайыру:

– Ты что – этим увлекаешься?

– Каха, говорят, что анаша пахнет, зато деньги не пахнут. Поэтому этим делом тоже приходится иной раз заниматься. Но пусть это будет между нами.

– Пусть... Твои дела.

«Волга» остановилась у большого дома. В двух окнах на верхнем этаже горел свет.

Кайыр заметно оживился:

– Каха, мы на месте. Нас ждут!

– Удобно ли? – засомневался Кахарман. – Люди, наверное, спят...

– С нами все удобно...

Кахарман был удивлен. Не столько даже обстановкой четырех комнат, сколько огромными размерами самой квартиры. Молодые ребята и девушки кучковались по углам.

– Ребята, познакомьтесь! – И Кайыр стал представлять Кахармана модной молодежи как своего брата и капитана корабля.

«Гип гип ура!» – молодежь стала поднимать фужеры.

– Пожалуйста, Кахарман-ага, за стол. – Кайыр проводил его на место. – Сбросьте пиджак, расслабьтесь...

– Мне бы руки помыть...

– Саша, сделай милость... – попросил Кайыр.

Парень, который вел машину, проводил Кахармана по длинному коридору в ванную, она была вся облеплена фотографиями голых женщин.

– Полотенце можете брать любое...

Кахарман с любопытством огляделся, затем вымылся холодной водой. Усталость прошла, он был бодр. Когда он вернулся в комнату, Кайыр и те двое ребят, что были в машине, уже сидели за столом. Девушка в длинном платье с открытой спиной влезла на колени Кайыра. Скорее наигранно, чем в самом деле грустя, она спросила:

– Значит, завтра летите?

– Если доживем, – ответил Саша. У него на коленях тоже была девушка.

– Маришечка, они нас, кажется, не берут с собой в Москву? – обратилась она к подружке заплетающимся языком.

– Разве мужики в Тулу со своими самоварами ездят? – съязвила Марина.

– Каха, вам чего налить? – спросил Кайыр, зависая над столом.

– Чего-нибудь покрепче...

– Виски! – вскричал Марат. – Ошарашим нашего гостя!

Кайыр усмехнулся:

– Наивный Марат! Этот дядя, между прочим, пил виски еще тогда, когда ты ходил под стол пешком. Знаешь ли ты, что в свое время Кахарман-ага общался с американскими учеными. И они удивлялись его оксфордскому произношению. А ты – «ошарашим»... Хау дуу ду! Найс ту мит ю!

После виски живительный огонь разлился по жилам Кахармана. Зная, с какого рода молодежью общается он сейчас, Кахарман поначалу не мог подавить в себе того презрения, которое он всегда испытывал, глядя на подобную публику. Но

теперь, после виски, он попытался взглянуть на них по другому. В свою очередь, молодые люди, как показалось Кахарману, во многом приняли его за «своего». Они повели его по комнатам, пересыпая свою речь скользкими шуточками, потом привели в комнату, где был «видак». И проводили громким смехом, когда он попятился назад, увидев на экране голых мужчин и женщин. За столом Кайыр обсуждал с одним из ребят свои дела. Кахарман успел услышать: «Два куска – не меньше. За меньше – нет». Он смолк и обратился к подходившему Кахарману, очень удивленный:

– Каха, вам не понравился фильм?

– Ты знаешь, я уже вышел из этого возраста, когда от подобного пускают слюни! – Кахарман сел за стол на прежнее свое место.

Приятель Кайыра встал:

– Гуд бай! Подумай до завтра. Я приду проводить тебя...

– И думать нечего. Дважды я не повторяю. Не забывай, цена мака растет с каждым днем, добывать его все опаснее и опаснее. Я предложил тебе заплатить два куска по-дружески. В Москве или Риге я бы такой товар продал за шесть. – Кайыр сказал это твердо и жестко.

Приятель его призадумался.

– Хорошо, я подумаю. До завтра.

Кахарман обратился к Кайыру:

– Не найдется ли здесь холодной водички?

– О чем речь, Каха! Марат, принеси-ка холодной воды. А мне прихвати бутылку шампанского!

Марат, сидевший в темном углу с девушкой, мгновенно вскочил и почти тут же, к удивлению Кахармана, вернулся с водой и шампанским.

– Шеф, все исполнено! – Он, кривляясь, склонил голову.

– Шутка в деле не помеха. Звони в Москву. Может быть, Георгий уже вернулся...

Марат примостил телефон на коленях и стал вертеть диск.

– Сам будешь с ним разговаривать, Кайыр?

Кайыр отрицательно мотнул головой.

– Тогда что ему сказать?

– Передавай, что сегодня вылетаю рейсом из Усть-Камена, со мною два дурака.

Пусть возьмет машину с фургончиком – багаж большой...

– Каха, вам налить? – Кайыр взялся за черную пузатую бутылку.

– Казахи говорят, между прочим: чем попусту спрашивать – лучше ударить, но дать...

– Вы правы, Каха, каюсь...

– А сам не пьешь?

– Вы как Штирлиц, Каха. В Москве мне предстоят дела. Перед делом не пью.

У меня некрасивая привычка: начну пить – до-о-о-олго не могу остановиться. Вот и весь секрет.

– Такой секрет и у меня есть, – вздохнул Кахарман. – А лучше, конечно, совсем не пить. Раньше я в рот не брал, а теперь начинаю привыкать. Так глушу свою тоску... Ядом отраву лечу...

Кайыр немало перевидел людей, которые, оторвавшись от Синеморя, теряли жизненные ориентиры – беспомощно кружились на одном месте. Особенность незаурядных людей проявляется во всем: в том числе и в их ошибках. Кайыр

представил себе на мгновение окончательно заблудившегося Кахармана – и содрогнулся. Тяжела будет его участь, тяжела будет его боль – тяжелее и трагичнее, чем у заурядного человека.

Кайыр понял, что Кахарман сейчас на краю пропасти. Еще мгновение – и он полетит вниз, в бездну, словно снежный ком, по ходу обрастая новыми и новыми бедами, все больше и больше путаясь в противоречиях.

И тогда Кайыр вспомнил последние дни Беркимбай ходжи. Под утро со смертного своего одра ходжа позвал его – Кайыр был в передней комнате. Почти что неслышно он попросил Кайыра дать ему кумысу. Кайыр поднес к его губам чашку, ходжа сделал глоток и долго отдышал. Затем с большим усилием он заговорил. Некоторые слова его прерывистой речи были неразборчивы, но Кайыр, в последнее время не отходивший от его постели, догадывался о них по движению губ.

– Правду люди говорят. Чем быть вельможей на чужбине, лучше быть слугой в своем краю. Никогда не вникал в эти странные слова, а теперь, когда мне восемьдесят лет, – понял. Поздно понял, к сожалению, – перед лицом смерти. Похоронят меня на чужбине... А надо мне было остаться у моря, как бы там ни было тяжело. Насыр оказался мудрее меня, достойнее, мужественнее – далеко мне равняться с ним.

Да, ходжа умирал. И теперь не мог простить себе этой большой жизненной ошибки. Глаза его наполнились слезами, хотя мало кто ему мог отказать в мужестве.

– Уважаемый ходжа, – стал его успокаивать Кайыр. – Не печальтесь так сильно. Мы похороним ваше тело в песках Синеморья, как бы это ни было трудно...

Беркимбай оживился, благодать разлилась по его лицу.

– Благодарение тебе, Кайыр. Много я возлагал надежд на своих сыновей, но ты оказался мне ближе, чем они...

– Тело положим в цинковый гроб и самолетом доставим на родину. За деньги все можно сделать, были бы деньги...

Обнадеженный ходжа дал знак слабой рукой:

– Прикрой-ка дверь...

Кайыр быстро исполнил просьбу, догадываясь о намерениях Беркимбая.

– Под подушкой у меня лежит узелок, вытащи его...

Кайыр вытащил из под подушки деньги, завернутые в чистый платок.

– Там пятьсот рублей. Хватит?

– Нет, дорогой ходжа, этого маловато. Сейчас это стоит около тысячи рублей...

Беркимбай стал копошиться под одеялом, от усилий лицо его покрылось потом. Он достал еще один сверток и протянул Кайыру:

– Здесь еще пятьсот. Если не хватит тысячи – доплатишь...

Открылась дверь, и вошла байбише с кувшином теплой воды и тазом. Она помогла ходже умыться, стала вытирать его лицо мягким полотенцем. Потом принесла завтрак. Беркимбай не смог выпить даже чашки чая – настолько он был слаб. Он лежал неподвижно, потом потерял сознание. Весь день он не приходил в себя, а к полуночи скончался, тихо, никому ничего не сказав напоследок.

В Зайсане с почетом проводили в последний путь всеми уважаемого ходжу. Те, кто омывал его тело, получили богатые дары в знак благодарности. Отпевавшему его Кайыру досталась в подарок молодая жеребая кобыла. О деньгах, полученных от Беркимбая, он, разумеется, никому не сказал. Мог ли ходжа подумать на смертном своем одре, что окажется жертвой обмана со стороны своего верного ученика?

Кайыр снова взглянул на Кахармана, словно бы между бывшим прислужником и покойным ходжой продолжался неоконченный разговор.

Вот Кахарман. Чего он добился за свою жизнь? А вот он, Кайыр, институтов, между прочим, не кончал, специальности у него нет никакой. Зато есть главное – у него есть деньги. А если у тебя есть деньги – у тебя есть все: и машина, и богатый стол. Ну и что с того, что занятие опасное: шаг – и ты в тюрьме? Зато азарт, азарт!

Кахарман спросил:

– Говоришь, и наши рыбаки промышляют на Зайсане?

– Да. Зайсан отдален от шумных центров – нашим людям это нравится...

– А хотел бы я повидать этот самый Зайсан! – неожиданно для себя решил Кахарман. – Посмотрю на земляков, которые осели здесь, поговорю... А что? Или я не прав, Кайыр?

Он в одиночестве допивал содержимое пузатой черной бутылки, и чувствовалось, что виски изрядно подействовало на него.

– Путешествие народного героя продолжается, – откликнулся Кайыр с изрядной долей иронии, но Кахарман не обратил внимания на его насмешку.

– В министерствах и академиях наук по-прежнему переливают воду из пустого в порожнее. Если бы всю эту воду да в наше море, а, Кайыр? Вот что мучает. Я потерял всякую надежду. Говорят, она умирает последней. Нет, еще осталось тело – знал бы ты, как ему мучительно жить, когда нет надежды, когда нет в нем души! – И он с маху вылил в рот стопку.

– Вы что – серьезно решили на Зайсан? Машина, на которой я приехал, утром возвращается туда. Я поговорю с водителем...

– В самом деле, поговори...

Шофер не отказал, и ранним утром Кайыр и Кахарман простились. Кахарман сразу же уснул на заднем сиденье – он опять не спал всю ночь, они проговорили до утра.

Проснулся от толчка в плечо. Это был шофер.

– Ага, просыпаемся. Здесь чуток передохнем...

Кахарман открыл глаза. Дикая боль разрывала голову от выпитого накануне. Он вышел из машины. Мужчина пожилых лет сидел у родника и, расстелив полотенце, резал над ним хлеб. Кахарман рассеянно признал в нем человека, с которым они сегодня утром садились вместе в машину.

– Мимо этого родника не проедет никто, – сказал водитель. – Умывайтесь на здоровье, дядя Семен ждет вас...

– Суровый же вид у твоего дяди, – пошутил Кахарман, покосившись в сторону попутчика.

– Это на первый взгляд. Душа у него золотая...

Умывшись холодной водой, он подошел к мужчине, который ожидал его перед полотенцем, где была еда.

– Садись, – предложил он Кахарману. – Давай знакомиться. Меня зовут Семеном, по батюшке Архипович. Давай подкрепляйся – небось проголодался?

В самом деле, Кахарман легко узнал в нем, по его доброму мягкому голосу, хорошего человека. Кахарман тоже представился. Они не спеша поели. Семен Архипович собрал скатерть после окончания немудреной трапезы, отправил водителя к роднику, чтобы тот прополоскал чашки. Потом обратился к Кахарману:

– Бурную же ноченьку провел ты, парень. Похмелиться бы не мешало – как смотришь на это?

Кахарман застеснялся. Он всегда начинал тушеваться, когда кому-нибудь в глаза бросалась его слабость. Но понятливость, обходительность Семена Архиповича ему нравились.

– Не робей, – приободрил его Семен Архипович, копошась в машине. – Дело то житейское, чего уж тут...

Он вернулся с бутылкой, налил полный стакан и протянул Кахарману.

– Спасибо, Семен Архипович, очень кстати. А вы что же?

– Я свое уже отпил. Год назад бросил вчистую...

Кахарман выпил, крикнув. Семен Архипович обрадовался, тоже крикнул, озорно посмотрев на него, протянул мягкий овечий сыр.

– Легче стало? Это все я понимаю. Но не понимаю, когда злоупотребляют таким делом... – Они встали. – На Зайсане будем ночью, так что успеешь еще выспаться...

Как только машина тронулась, Кахарман снова уснул. Проспал он часа два. Семен Архипович заметно обрадовался его пробуждению. Оно было понятно: долгое молчание в дальней дороге утомляет человека, навевает невеселые мысли. И он, соблюдая казахские традиции, стал расспрашивать Кахармана, откуда он родом и чем занимается. Кахарман рассказал ему о своих жизненных неурядицах последних лет. Из его рассказа вырисовывалась не только бедственная жизнь Синеморья, но и грустная судьба всей республики, тот ее жалкий путь, по которому она идет последние двадцать лет. Страстный рассказ Кахармана заставлял водителя несколько раз обернуться к нему с уважением и сочувствием. Семен Архипович слушал молча, внимательно, часто вздыхая. Когда Кахарман перестал говорить, в машине воцарилось тягостное молчание. Семен Архипович, много переживший на своем веку, был потрясен, а Кахарман в первый раз за последние несколько лет вдруг почувствовал облегчение от того, что поделился с кем-то без утайки своей душевной болью.

– Я много слышал о тебе и твоём отце, Кахарман, – наконец проговорил Семен Архипович. – У нас на Зайсане есть семьи из ваших краев. Они много рассказывают о тебе, Кахарман, часто говорят о твоём отце Насыре. У нас уже сложился образ человека, который готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы спасти море, спасти от разрухи край, в котором он родился, в котором он прожил много лет. Восхищает нас и Насыр. Остаться, когда многие покинули насиженные места, надеяться на то, что молитвами можно пополнить море, – это нужно быть или сумасшедшим, или действительно святым! Я его воспринимаю как святого. Знаешь, Кахарман, редко встречаются люди такого цельного нрава. Я тебе, в свою очередь, тоже хочу рассказать о своём отце – он той же породы, что и твой отец, тоже был сильным человеком. Его расстреляли как врага народа. Взяли прямо на работе, так что не удалось даже проститься с ним. Мать моя была учительницей. Ее забрали ночью – она сидела и проверяла ученические тетради. Только тогда ей сказали, что отец арестован. Через двадцать семь лет после этого я нашел свою мать здесь, на Зайсане...

И где только я не побывал! Сначала жил в интернате, где воспитывались дети врагов народа. Сколько раз я убегал оттуда! Но всякий раз ловили и возвращали. Выстригали крест на голове – это был отличительный знак «побегушника». Потом война. На войне я понял: если не суждено умереть – то и пуля не возьмет. Я не жалел себя, нисколько не дорожил жизнью, но как бы в насмешку дошел до

Берлина без единой царапины – бывает же такое! Считался храбрецом, закончил войну полным кавалером ордена Славы. Ну, думаю, если смерть обошла меня, значит, сам Бог так распорядился. Тогда я уже знал, что отец расстрелян. И чтобы хоть что-то выведать о матери, отправился домой. Высадился в Брянске. Видел бы ты, Кахарман, послевоенный наш народ! Исхудавшие, поникшие женщины, с ними полураздетые, голодные дети... Добрался до родной деревни, пришел уже близко к ночи. От нашего дома остались лишь обгорелые стены. Никогда я так горько не плакал, даже когда забирали мать – цеплялся за подол, орал истошно, но плакать так не плакал.

Семен Архипович смолк, обратившись к Кахарману:

– Я не утомил тебя, Кахарман?

Машину резко тряхнуло, Семен Архипович неодобрительно посмотрел на водителя:

– Смотри вперед, не то перевернешь нас. Ну и парень – горазд развешивать уши... Потому и ходишь до сих пор холостой, не больно к таким ушастым девки липнут...

И он продолжил свой рассказ:

– Сiju, рыдаю... А как же – у человека в душе теплится надежда – как маленькая свечка. Не верил я никогда, что лишился навсегда отца-матери. Лежал в обнимку с автоматом на снегу – и все то в глазах родительский дом: вот отец прошел, покашливая, скрипнув половицей; вот мать склонилась над тетрадками... Так что была вера, и было о чем поплакать, сидя на развалинах родительского дома.

Пошел дождь, скоро я промок до нитки. Не уходил, сидел рядом с этой трубой и говорил себе: тебе надо остаться человеком, Семен. Сколько бы ни крутило тебя, ни ломало, сколько бы ни было отпущено на твою долю горя – останься человеком, Семен! Сейчас об этом легко рассказывать. А тогда... тогда лежал у меня в кармане пистолет. Легко было покончить со всем одной пулей. Набрался мужества, рассудил: найдут мой труп, рядом пистолет – что это он, скажут, сделал? В те годы люди дорожили честью, не то что сейчас...

Послышались шаркающие шаги – я узнал все ту же бабу Марфу. И снова она мне говорит, как будто бы и не прошло тех долгих лет, когда она мне это сказала впервые: «Сеня, сиротинушка...» – «Баба Марфа, дорогая!» – я вскочил и обнял ее. И она обнимает меня, плачет. Пришли в дом – а ей нечего на стол поставить. Выложил свой сухой паек, а на рассвете ушел. Просил ее, если будет весточка от матери, передать ей, что вернулся, жив я.

Уехал на Дальний Восток. Пристроился матросом. По двенадцать месяцев не появлялся на берегу. А были это счастливые годы – сейчас я это понимаю хорошо. Двенадцать месяцев вокруг тебя лишь молчаливый океан, рядом лишь молчаливые рыбаки, солнце сменяется луной, луна – солнцем, чем не жизнь для сына врага народа?!

Закончил техникум, женился, а там и Двадцатый съезд: стали смотреть на нас по-другому... Ага, вот и Зайсан... чуть поодаль Приозерское – наш аул! – Семен Архипович показал рукой на дальние огоньки за окном. Глаза Кахармана невольно вырвали из череды огоньков самый яркий – свет маяка. У него защемило в груди и радостно, и тоскливо: да, он рожден на море, он и умрет на море.

– Подбросьте меня до гостиницы, – попросил Кахарман.

Шофер рассмеялся:

– Какие же в рыбацком ауле гостиницы?.. Ты куда, Саке?..

Семен Архипович пояснил:

– Так они меня называют – казахи не любят выговаривать отчество... Давай-ка, Кахарман, ко мне. Не обещаю особого уюта – давно живу бобылем. Я так думаю: была бы крыша. На Дальнем же Востоке и развелся. Пока был в плавании, она спуталась с кем-то на берегу – выгнал к чертовой матери! Осталась дочь. Учится в институте... Женился во второй раз. Великая была женщина! Но она умерла здесь, на Зайсане...

– Дочь часто приезжает?

– Не особенно: что ей тут, на границе с Китаем делать? Это не Москва, не Ленинград...

Говорил он без злобы, без обиды. Тем временем шофер остановил машину у старого небольшого домика. Вошли, зажгли свет.

Шофер сказал:

– Саке, пойду схожу к Балзие, скажу, что вы приехали.

– Оставь, поздно уже, управимся сами. А тебе спасибо. Передавай привет отцу и матери...

Шофер, попрощавшись, ушел. Семен Архипович принялся растапливать печь.

– У меня есть газ, но люблю готовить в печи. Никакого сравнения! Живой огонь – это вещь...

Сев на корточки, он стал поддувать.

– А ты раздевайся. Пока умоемся – чай уже будет готов, – бросил он Кахарману. Кахарман разглядывал скромное жилище бобыля.

Поскольку Семен Архипович в машине сидел на переднем сиденье, Кахарману не удалось спокойно разглядеть его лица. Теперь, разглядев его при свете, удивился тому, какой у его спутника оказался пронзительный взгляд. Как правило, такие черты лица соответствуют решительному, смелому характеру.

Умывшись, сели за стол. В это время открылась дверь и вошла молодая женщина.

– Братец, вы уже приехали! А мы и не ждали сегодня вас. – Она застеснялась гостя, стала растерянно озираться по сторонам.

– Ассалаумагалекум, брат! – За женщиной в проеме двери показался высокий мужчина. – Говорю ей: приехал – а она никак не может проснуться.

– Ну и жизнь пошла у вас, – рассмеялся Семен Архипович. – Обычно Балзия никак не может тебя растолкать, а тут...

Кахарман был удивлен.

Семен Архипович заговорил на чистейшем казахском:

– Вообще поменьше себя хвали – это не приведет к добру. Как, впрочем, и Балзию испортишь. Терпеть не могу мужиков, которые хвалят своих жен. – Он обнял Балзию. – Ну, как вы здесь, как дети?

– Что им будет, детям? Я приготовила мясо к приезду, пойду разогрею да принесу... Дуйсен, идем... – И она утянула его за рукав.

– Не стесняйся, Кахарман, это мои родные, Балзия – сестра, Дуйсен – зять...

– Вы говорите по-казахски?.. – Кахарман не мог отделаться от удивления.

– А я-то не могу понять, с чего это у тебя отвисла челюсть! Я двадцать пять лет живу в Казахстане – пора бы и научиться...

– В Казахстане много русских, но мало кто из них говорит на нашем языке. Хотя, опять же, не по всему Казахстану. Так, на Синеморье, к примеру, редко

встретишь русского, который не говорил бы на казахском. Был у нас там профессор Славиков: прекрасное произношение, чистейшая речь! А здесь даже казахи считают зазорным говорить на своем языке – предпочитают русский...

– Ты меня не путай с другими русскими. Я особенный. У меня кости русские, а мясо на них казахское, так-то вот!

По ходу разговора он достал из сумки несколько бутылок, поставил их в шкаф, одну оставил на столе.

– А вот и мясо!

В дверях появилась Балзия. Из кастрюли, обернутой полотенцем, валил пар. Балзия вывалила жаркое на большое блюдо и поставила перед мужчинами.

– Спасибо, Балзия, за хлопоты. Видишь сумку – там подарки для вас. Бери сумку и иди спать, тебе же рано вставать завтра. А Дуйсен останется с нами...

Просидели они допоздна. Кахарману рассказали о жизни на Зайсане. Он интересовался, сколько рыболовных судов имеет Зайсанрыбпром, на каком объеме улова они держатся, каков уровень воды в озере, – и сделал для себя кое-какие выводы. Возникла мысль устроиться в Зайсанрыбпром обычным инженером, но следом же пришло сомнение.

Утром он решил прогуляться по аулу, маленький тихий Зайсан напомнил ему родные места. Кахарман был расстроен. Ему показалось, что именно здесь он найдет себе утешение, обретет какую-то поддержку в жизни, придет в себя, и тогда возвратится к нему былая уверенность силах. Но встал перед ним образ Айтуган, вспомнил ее слезы: «Мы измучились в этих бесконечных переездах – и мы измучились, и ты сам. Будет ли этому конец, Кахарман? Тебе уже сорок лет – успокойся, остепенись... Ведь нельзя же так всю жизнь...»

Председатель здешнего рыболовецкого колхоза радушно принял Кахармана: оказался он человеком рассудительным, взвешивающим каждое сказанное слово. По всему было видно, что гости в ауле бывают нечасто. Семен Архипович оставил Кахармана с председателем и ушел по своим делам, сказав, что встретятся попозже дома.

– Значит, гостите у нас? Добро пожаловать. Будут просьбы – рады будем послужить...

– Я не просто в гости, аксакал. Ищу работу...

– А специальность какая у вас?

– Я рыбака...

– Рыбаки нам позарез нужны! – выпалил председатель, но недоверчиво осмотрел Кахармана, ибо тот внешним видом мало походил на простого работника. Кахарман, видя, что председатель в замешательстве, назвал себя, назвал должности, которые он занимал недавно.

Председатель опешил.

– О! Тысячу раз слышал о вас! Могу предложить любую работу – вплоть до моего заместителя. – Он помолчал, потом грустно добавил: – Не знаю, интересно ли будет вам у нас. Может быть, вам лучше устроиться в управление Зайсанрыбпрома?

– Уважаемый Жомарт-ага! Независимо от должностей, мы все в первую очередь рыбаки. В управление я совершенно не хочу, как не хотите туда и вы, наверное. Возьмите меня в колхоз рядовым рыбаком. А дальше – сами увидите, чего я стою.

Председателю такой ответ очень понравился. Но он решил высказать сомнение:

– Это совсем нетрудно – взять вас в колхоз простым рыбаком. Однако не будут ли ваши земляки смеяться над вами?

– Надо мной или над вами? – лукаво прищурился Кахарман. – Жомарт-ага, сплетни пойдут в любом случае – на то они и враги, чтобы их распространять. Как говорят, караван исправляется в пути... – Кахарман раскраснелся от смущения.

– Выбирай тогда сам. Хочешь – дам тебе судно. Хочешь – иди бригадиром.

– Спасибо, Жомарт-ага. От своего не отступлюсь – все-таки хочу обыкновенным рыбаком...

– Ты денек еще побудешь у нас? Дело-то вот в чем, думаю, что тебе интересно: сегодня у нас выдают замуж одну девушку. Она из ваших краев, Кахарман. Парень тоже из ваших – из тех, которые обосновались под Алма-Атой...

Предстоящее событие, в общем-то не имеющее никакого отношения к Кахарману, вдруг заставило вздрогнуть его сердце – у него даже потемнело в глазах, нашла какая-то слабость, и он прислонился к дверному косяку – ему показалось, что не сделай он это, то непременно упадет. Ничего этого не успел заметить председатель.

– Как знать, если женятся – может, и становится жизнь лучше, как ты думаешь? Все равно радостно, что твои земляки вступают в родство. Понятно, хотят держаться кучнее, крепче... Знаешь ли, так легче переносить оторванность от родных мест. Я к чему об этом говорю? Дело в том, что и у нас произошло что-то похожее – не таких, правда, масштабов, как у вас в Синеморье. У нас здесь с семьдесят четвертого года по семьдесят девятый была страшная засуха. В Иртыше, Зайсане, Бухтарме вода упала на три четыре метра. Рыба исчезла, колхоз остался без доходов. Люди стали разъезжаться кто куда. Но в основном народ остался, выдержал. Не приведи господи, чтобы это повторилось. Сейчас в Зайсане воды много, рыбы тоже достаточно. Уехавшие возвращаются с повинной. Ни одного бы из них я не принял обратно в колхоз – да не могу взять греха на душу. Как же это можно человека отлучить от родного места?

– Кто они, молодожены? – спросил он.

– Невеста – дочь Байтена, не знаю, помнишь ли ты его по родным местам. А вот жениха из под Алма-Аты не помню как звать. Ходят слухи, что главным сватом приезжает из-под той же Алма-Аты Герой Соцтруда...

– Не Оразбек ли? – удивился Кахарман.

– Точно, Оразбек! Вспомнил... – ответил председатель.

Кахарман покачал головой и стал прощаться:

– Спасибо, Жомарт-ага, за человеческое отношение – стал я забывать, что оно еще существует. Тяжело мне, вы, наверное, заметили. Так что в самом деле – не дай бог вашему Зайсану нашей участи... – И Кахарман вышел.

Когда он был уже во дворе, его снова окликнул председатель, высунувшись из окна:

– Заеду за тобой вечером, будь дома... Ты ведь у Семена остановился?

Возвращаясь к Семену Архиповичу, он еще издали услышал звонкие, упругие стуки молотка о наковальню, которые неслись по улице. И он не ошибся в том, кто мог на этой улице заниматься слесарным делом – еще утром он заприметил в сенях кучу сваленных железяк. Семен Архипович сидел во дворе спиной к калитке и, положив жестианку на наковальню, стучал по ней легким молотком. Заметив Кахармана, он оставил молоток и пошел к нему навстречу.

– Уже вернулся, Кахарман? Иди мой руки. Нас ждет Балзия... Балзия и Дуйсен живут рядышком. – Он кивнул в сторону соседнего дома. – Ждут нас. Столковался с Жомартом?

– Договорились, кажется. Только с жильем плохо – к следующему лету обещает...

– Живи пока у меня, а я на время перееду к Балзие...

Сказал он это так уверенно, что Кахарман понял – дело решено.

– Она у меня учительница. Дуйсен – рыбак. Двое детей у них. Они переехали сюда, чтобы быть ближе ко мне. – Он открыл дверь перед Кахарманом. – Вообще это длинный разговор. Как-нибудь потом все расскажу...

Их встречала Балзия:

– Проходите, пожалуйста. Дуйсен сейчас на работе – так что за гостем придется поухаживать вам, братец...

– Кахарман, что будем пить?

– Может, не будем?

– Балзия обидится, – подмигнул он Кахарману. – Правда, сестренка?

Балзия зарделась:

– Вы, мужчины, сами себе хозяева. Если гость не желает – зачем его неволить?

– И то правда. А ты знаешь, кстати, что Кахарман собирается переехать сюда, на Зайсан? У них был деловой разговор с Жомартом. Эх, сюда бы нам еще пяток таких, как Кахарман! – Он открыл бутылку. – Коньяк днем пить не годится. Выпьем водки – по маленькой. – Он наполнил рюмки. – Рад, что познакомился с тобой, Кахарман!

Кахарман поднял было свою, но тут же поставил на место. Семен Архипович с удивлением посмотрел на него.

– Не обижайтесь, – пояснил Кахарман, – я выпью позже. Вчера я узнал о смерти достойного человека – ходжи Беркимбая. На вашей земле – это первая могила человека, который оставил наш край. Схожу на кладбище – потом и выпью.

– Ты прав, – ответил Семен. И, заслышав чьи-то шаги, быстро убрал со стола спиртное и снова хитро подмигнул Кахарману.

Открылась дверь, и на пороге появилась женщина лет пятидесяти в белоснежном головном уборе. Балзия быстро встала, указывая женщине на почетное место. С женщиной был маленький мальчик, державшийся за подол ее длинного платья. Не садясь, она посмотрела на Кахармана.

– Здравствуй, дорогой Кахарман! Как живы-здоровы родители? Как Айтуган?

Кахарман узнал ее мгновенно. Это была вдова Откельды – Марзия. Время не пощадило ее былой красоты, но благородства в осанке и поведении ее не убавилось.

Кахарман встал ей навстречу, протягивая руки:

– Здоровы ли сами, Марзия-апа?

Она улыбнулась полными, еще красивыми губами, и они обнялись.

– Значит, помнят еще обо мне люди! Господи!

Она, прижимая Кахармана к груди, мягко поцеловала его в лоб. На глазах блестели слезы. Кахарман под руку проводил ее к почетному месту за столом, помог ей сесть на мягкие одеяла.

– Я думаю о нашем море каждый день. Старость, наверно, дает знать о себе. Как ни привыкла, а не могу сказать, что прижилась здесь – мыслями витаю в родных местах...

Кахарман почтительно кивнул. Но она обратилась к Семену Архиповичу:

– Слышала, что ты ездил на могилу матери. Да будет ей земля пухом.

– Да сбудутся ваши слова, Марзия! – поблагодарил ее Семен Архипович. – В Усть-Каменогорске повстречал вашего земляка – и целевым назначением доставил его к вам.

– Благослови тебя Аллах! И хорошо, что так получилось. Люди говорят – народ славен лучшими своими сыновьями. Кахарман сделал для спасения нашего края все возможное... – Марзия тяжело вздохнула и после молчания спросила: – Как здоровье моей сестры и зятя? Все знают, что они остались. Насыр не мог поступить иначе – он так устроен. Благодарение Богу, что хоть раз в сто лет рождаются такие люди, как он! Покойный Отеке очень его уважал...

Кахарман слушал Марзию, думал о том, что как бы далеко ни разбросала судьба людей его края, а души их остались в Синеморье.

– Кахарман, – спросила Марзия, – как дальше сложится судьба нашей земли? Что говорит правительство?

Кахарман теребил край скатерти – что он мог ответить женщине?

– Марзия-апа, поднять наш край – задача не из легких. Разве думали об этом те, кто лишил его жизни? Нам, простым смертным, остается только ждать. Такова ситуация на сегодняшний день – никого не хочу зря обнадеживать.

В разговор вмешался Семен Архипович, он сказал невесело:

– Мы сидим и ждем, а катастрофа близится...

– Что же будет?.. – сокрушенно обронила Марзия. – На глазах у людей осквернить, погубить такое сокровище, как наше море?!

Больше она не проронила ни слова. Только когда Кахарман сказал, что хотел бы побывать в доме покойного Беркимбая, она вздохнула:

– Пойдем, я провожу тебя...

– Как Нурлан? – по дороге стал расспрашивать Кахарман Марзию. – Оправдал ли он ваши надежды?

– Нурлан рос слабым, хилым. Я подумала и не решилась отправить его на учебу в город. Да и сам не хотел меня оставлять одну. И денег у меня совсем не было, чтобы учить его, как ты знаешь, Отеке не скопил ничего. В общем, как переехали сюда – так и не разлучались. Закончил медицинские курсы в Усть-Каменогорске, работает здесь фельдшером.

– «Фельдшером»... – вмешался в разговор Семен Архипович. – Что же ты такого низкого мнения о нем? Он – целитель, а это нечто другое. Веришь ли, – он с восторгом посмотрел на Кахармана, – сломал я себе в прошлом году ключицу, Нурлан мгновенно вправил перелом!

– Это дар от отца. Тьфу-тьфу, как бы не сглазить... Вот мы и пришли – это дом Беркимбая. Дома сейчас только вдова. Бедная, не удалось ей найти в детях отраду. Старшего сына убили в какой-то драке, а младший не вылезит из тюрьмы... – Марзия перешла на шепот. – Развращают большие деньги, правду люди говорят. Тяжело было Беркимбаю – кто мог исполнить его последнюю волю при таких-то детях? Старушка? А воля его была такая – просил похоронить на родине. Пройдоха Кайыр вроде бы взялся за это, но вернулся из города ни с чем. Якобы не мог найти цинкового гроба... И что за времена такие проклятые настали! Умрешь, а похоронить тебя в родной земле никак нельзя...

Кахарман усомнился в том, что проныра Кайыр не смог купить в городе цинкового гроба. Конечно, он прикарманил выделенные деньги, стал бы он так

просто сидеть у постели умирающего ходжи – выждал свое. «Змея, пригретая на груди! Шакал!» – ругнулся про себя Кахарман. Он почувствовал неумолимое отвращение к Кайыру, хотя посмотреть трезво: что ему, казалось бы, с того, что один мулла обдирает другого?

Женщинам запрещалось ходить на кладбище. Семен Архипович и Кахарман отправились вдвоем. Здесь, у могилы земляка, похороненного на чужбине, Кахарман вновь задумался. Если море вскоре умрет, какой смысл везти мертвецов к нему? Они не услышат плеска его волн, пески кругом будут мертвы, и лежать им в безлюдье, в запущении – не означает ли это надругаться над их памятью?

По телу его прошла мелкая дрожь. Теперь всегда в минуты волнения его начинала преследовать противная дрожь, которую он, человек сильный и сдержанный, не мог преодолеть никак. Какие нужны нервы, чтобы спокойно переносить эту дикую жизнь... Вот и сейчас – он стоит у могилы земляка и ни одной утешительной мысли не приходит на ум. Умер Беркимбай, умрет Кахарман, умрет много его земляков на чужбине – и потомки их не будут знать, что такое Синеморье. К тому времени от него останется на карте белое соляное пятно. Ветер с севера на восток понесет эту белую гибельную пыль и спалит красоту Алтайских лесов...

Кахарман оглядел мраморную доску, встроенную в кирпичную стенку. На ней были даты рождения и смерти Беркимбай ходжи. О чем могут поведать здешним людям эти цифры? А если бы эта могила была в цветущем родном краю? Всяк проходящий сказал бы: «Здесь покоится ходжа Беркимбай. Добрый был человек, хорошо читал молитвы Беркимбай, знал старую письменность – не было грамотнее человека в наших краях, чем Беркимбай».

Кладбище – это место высоких человеческих раздумий. Живой человек, вступивший в его тихое, покойное царство, как бы разговаривает с умершими – вспоминает их лица, встречи с ними, добрые дела или ссоры, многое прощает, о многом просит прощения – становится добрее, чище душой... Вот почему всяк умерший должен быть похоронен в родном краю – с его смертью не кончается жизнь; пусть незримо, но ощутимо он продолжает жить в людской памяти, продолжают жить в людской памяти его дела, подвигая к ним тех, кто чтит его могилу...

Семен Архипович тронул Кахармана за плечо.

– Кахарман, пойдем ка домой, дорогой... Что-то голова у меня раскалывается. Опять взрывают бомбы в Семипалатинске – я лучше всякого сейсмографа могу это сказать. Если адская боль в голове – значит, опять в Семипалатинске проводятся взрывы.

Кахарман глянул на бледного, враз поникшего Семена Архиповича и испугался. Ему показалось, что тот валится с ног. В самом деле, не успеет его Кахарман прихватить – тот рухнул бы. У него на руках Семен Архипович проговорил еле слышным голосом:

– Беги... Найди машину... Больно...

Кахарман осторожно положил его на землю, сунул под голову вчетверо сложенный свой пиджак и побежал к аулу. Когда он вернулся с машиной, то увидел: глаза Семена Архиповича были закрыты, а сам он бредил. Вдвоем с шофером они перенесли его в машину.

– Куда? Домой или к Балзие? Пиджак не забудьте... – сказал шофер.

– Не пропадет... Давай на всю катушку. Потом за врачом!

Шофер дал газу.

– Привезу Нурлана... Беда: как только начинают испытывать бомбы в Семипалатинске – Семен-ага не может поднять головы, валяется пластом. Вообще-то в такие дни все в ауле как сонные мухи, а старики вообще не могут с постели подняться... Наши люди похожи на космических лаек – всякие эксперименты проводят на них!

Уехать бы отсюда – да на чужбине не лучше, наверно... Весь Казахстан теперь как какая-то адова помойка. Синеморье усохло, а от Зайсана в двух шагах атомные бомбы взрывают...

В ожидании врача Кахарман усиленно прикладывал к голове друга холодное мокрое полотенце. Вскоре шофер привез Нурлана. Худощавый молодой человек в распахнутом белом халате быстро вошел в дом и сделал Семену Архиповичу укол.

Шофер, возвращая Кахарману пиджак, сказал:

– Нурлан наизусть знает болезнь Семен-ага. Можете ставить чай – пока он вскипит, Семен-ага уже придет в себя...

Кахарман был в растерянности, не зная, верить или не верить шоферу, этому простому грубоватому парню.

– Рад познакомиться с вами, Кахарман-ага, – приветливо обратился к нему Нурлан. – Много наслышан о вас...

Глядя на улыбающегося молодого человека, Кахарман узнавал в нем знакомые черты лица Откельды. Они пожали друг другу руки.

– Кахарман-ага, – вдруг обратился к нему Нурлан, – присядьте, пожалуйста, я пощупаю вам пульс.

Кахарман подчинился. Щупая пульс, Нурлан спросил:

– Наверное, Семен-ага с утра немного выпил?

– Всего рюмочку...

– В такие дни достаточно и этого, чтобы мгновенно подскочило давление... А вы переутомлены, Кахарман-ага. Нервная система истощена предельно... Надо бы вам подлечиться, отдохнуть...

– Раньше как-то не обращал внимания, а здесь, на Зайсане, понял, что действительно нервы у меня ни к черту, – признался Кахарман. – Спасибо за совет.

Пока электрический чайник закипал, Семен Архипович в самом деле пришел в себя. Он сел и осмотрелся вокруг.

– Ты опять вернул меня к жизни, Нурлан, – устало пошутил он. – Кахарман, я тебя сильно напугал?

– Не вставайте, – предупредил его Нурлан. – Вам нужно еще полежать.

Вечером Жомарт заехал за Кахарманом, как и обещал. Кахарману не хотелось оставлять приболевшего Семена Архиповича в одиночестве, но тот лукаво подмигнул, обняв за плечи сынишку Балзии:

– Вот кто со мной останется, так что не волнуйся... Сарсен, ты считаешь мне сказки? – Он шутливо погрозил пальцем Жомарту: – Только одно условие: доставь моего гостя обратно в целости и сохранности...

– Я и сам могу добраться: ноги у меня еще ходят, кажется... Я не задержусь, – чуть чуть обиделся Кахарман.

– Ну конечно... Разве твои земляки отпустят тебя до утра? – махнул рукой Семен.

Он оказался прав. Люди, издавна считавшие Кахармана своим защитником, продержали его на свадьбе до самого утра.

Всю ночь не смолкали разговоры, молодежь пела песни – свадьба пришлось на пятницу, впереди были выходные дни. Свадьбы везде одинаковые – веселые, счастливые, но если бы она была в Караое или Шумгене, то обязательно бы устроили скачки, состязания борцов и много чего другого, согласно синеморским обычаям. Не без грусти понимал Кахарман, что синеморскую свадьбу теперь ему, наверно, никогда не придется увидеть...

Тем не менее весть о приезде Кахармана распространилась по аулу быстро – его появления на свадьбе все ждали. Первыми с ним стали здороваться старики, благословляя его: «Пусть удача всегда будет с тобой, Кахарман. Прости нас за то, что мы покинули родину и нашли приют здесь, на Зайсане. Ты рассудительный человек – ты не укоришь нас, а поймешь. Что нам было делать, когда в море не стало рыбы?»

Потом его обступила молодежь, выражая почтение, слушала рассказы Кахармана о поездке в Москву и Алма-Ату. В какую-то минуту Кахарман остался один – пользуясь этим моментом, к нему подошла девочка школьного возраста и, краснея от смущения, спросила: «Кахарман-ага, а где сейчас Бериш?» Этот вопрос и удивил, и обрадовал Кахармана. Удивил не только потому, что в Караое или Шумгене девочке было бы неприлично так открыто спрашивать о мальчике. А скорее потому, что этот вопрос приятно напомнил ему еще раз: Бериш-то вырос! Целых четырнадцать лет парню!

Недавно Айтуган принесла ему вот какую новость: «Бериш надумал жить и учиться в городском интернате – это недалеко от Караоя. Лето он будет проводить у дедушки с бабушкой. Пока тебе не говорит об этом – побаивается: просил меня поговорить с тобой». Кахарман не очень-то обрадовался этому решению. «Не забывай, – предупредила Айтуган. – Он такой же упрямый, как и ты. Если решил – не отступит». В конце концов Кахарман решил не препятствовать желанию сына, расценив это как любовь к отеческой земле. Пусть он заступит на место отца, пусть даже рядовым рыбаком – это все-таки не мотаться по всему Казахстану. Он решил с ним поговорить наедине, выбрал время. «Мать передала мне твою просьбу. Хочу заметить: ты уже вполне взрослый, впредь с любым делом обращаться прямо ко мне, без посредников. Я согласен с твоим решением, уважаю его: зимой интернат, а летом, в самом деле, поезжай к деду и бабке. Я в тебя верю. Бериш, – верю в твою самостоятельность!» – «Я тоже верю в тебя, коке!» – выкрикнул Бериш и пулей выскочил вон, видимо, чувствуя, что в противном случае не уберется от нежного порыва, от нежного объятия, которых он в последнее время стал стыдиться, как многие подростки.

Вот о чем вспомнил он в ту минуту, когда незнакомая девочка стояла напротив него и стыдливо ожидала ответа на свой вопрос.

Интересно, что хотел сказать ему Бериш этой своей странной фразой: я верю в тебя... Подбадривает, поддерживает, чтобы он окончательно не раскис? Или намекает на то, что он стал много пить – катится на дно, мучается, карабкается обратно, и Бериш верит, что он спасется?

Снова стали Кахармана окружать люди. Девочка выжидательно смотрела в лицо Кахармана. Щеки ее пылали от стыда, а теперь вдобавок ко всему она еще и растерялась – так сильно, что готова была заплакать. Кахарман, как бы испугавшись этого, быстро ответил: «Бериш вернулся в Синеморье. Учится в интернате, в райцентре. Лето проводит в Караое – у деда и бабушки. Уже год, как я не видел его».

Люди вокруг зашумели, заговорили разом:

– Вот тебе и Бериш!

– Мы-то думали, что только Кахарман у нас такой молодец, а сын весь в отца пошел...

– Благослови его Аллах!

Некоторые старухи даже всплакнули. Кахарман хотел спросить девочку, чья она дочь, но ее и след простыл. Свадьба тем временем шла своим чередом.

– Пусть Кахарман скажет! – раздались голоса за столом.

– Да-да, ждем Кахармана!

Все посмотрели на него. Кахарман взял в руки бокал с шампанским. Наступила полная тишина. Жених и невеста тоже встали.

– Дорогие мои! Я радуюсь вместе с вами в этот незабываемый для всех вас день. Будьте счастливы! И не забывайте, вы – дети Синеморья! Дай нам всем бог вернуться на родину, вернуться к нашему морю!

Разве могла кого-нибудь оставить равнодушным такая страстная речь Кахармана?

– Так дай нам всем Бог, – повторил последние слова Кахарман еще раз, – вернуться на родину. Вернуться к морю, дорогие мои земляки!

Казалось, на минуту они поверили, что это когда-нибудь произойдет.

Наступило время смены блюд. Многие поднялись из-за стола, чтобы походить, размять ноги. К Кахарману подошел управляющий Зайсанрыбпромом. Кахарман знал Рахимбека давно – они нередко пересекались в министерстве в Алма-Ате, были одного возраста, были на «ты», и потому Рахимбек начал разговор без обмена любезностями.

– В Семипалатинске мне много рассказывал о тебе, Кахарман, Иван Якубовский. Буду краток: хочу назвать тебя к себе главным инженером...

Рахимбек был искренен, им двигала только забота о деле – это Кахарман понял сразу, отчего был тронут таким доброжелательным предложением.

– Спасибо, Рахимбек, что не отвернулся от меня. – Кахарман мягко улыбнулся. – Однако не идеалист ли ты? Мою кандидатуру не то что в обкоме не пропустят – ее уже в отделе забракуют.

– Боишься Карабая? Он что – родной брат секретаря Синеморского обкома?

– Я никогда и никого не боялся. А насчет родства ты, между прочим, прав – Карабай приходится ему двоюродным братом. Так что расположения к себе мне ждать не приходится...

– Я поговорю с первым секретарем обкома. Протазанов – человек решительный. Если он встретится с тобой, вопрос будет решен положительно. Мне нужны деловые люди, Кахарман. В те годы, когда мы боялись и рот раскрыть, на ключевых должностях засели одни подхалимы и карьеристы – теперь настает другое время, и оно зовет к себе других людей!

– Ты станешь объяснять Карабаю, что берешь меня для пользы дела? – Кахарман усмехнулся. – Нет, они этого не поймут, не надейся. Ты сам окажешься в опале. Пойду рядовым рыбаком в колхоз к Жомарту. Будет видно, что делать дальше...

– И все-таки я поговорю! – стал настаивать Рахимбек. – Не делай этого. Это моя личная просьба к тебе. – Рахимбек приятельски положил ему руку на плечо. – Идет?

К утру в доме остались только земляки. Столы были убраны, в комнатах наведен порядок. По обычаю, дастарханы расстелили на полу и сели вокруг, подогнув под себя ноги. Хозяин дома выставил спиртное.

Кахарман, не опрокинувший ни единой рюмки за весь вечер, обратился к землякам:

– Может, хватит пить? По крайней мере, на сегодня.

– В самом деле, – поддержал Кахармана Оразбек. – Давайте-ка лучше угостимся зеленым чаем.

Молодежь не посмела возразить старшим, но по их лицам было видно, что они разочарованы.

Заметив это, Кахарман обратился к хозяину:

– Я понимаю: ребята весь вечер ухаживали за гостями, устали. Надо, наверно, накрыть стол в другой комнате – пусть веселятся: думаю, мы им не помешаем.

Молодежь оживилась, быстро накрыли стол в другой комнате – скоро оттуда послышались речи, музыка, звон рюмок, смех.

Оразбек, хорошо сохранившийся для своих шестидесяти пяти лет, сидел прямо и оглядывал присутствующих. Он знал их всех – знал их родословную до седьмого колена. В отличие от рыбаков – молчаливых, сосредоточенных на своем рыбацком деле – Оразбек был необыкновенно разговорчив и общителен. В Карае считалось, что только Насыр мог превзойти его в красноречии. По характеру он был добр, мягок – порою даже излишне. А внешности его можно было позавидовать: высокий, статный, с приятными чертами лица. Так получилось, что Оразбек оказался первым и последним Героем Социалистического Труда на Синеморье. В середине пятидесятых к этому званию представляли и Насыра, но он «не прошел» по неизвестным причинам. Славиков шутил тогда по этому поводу: «Э, Насыр, это я тебе подпортил карьеру. Когда б ты не дружил со мной – сияла бы у тебя звезда на груди». Когда Оразбек вернулся из Москвы с золотой регалией, Насыр встретил его на станции, привез в свой дом, заколол корову и весь аул пригласил на той. Он произнес сентиментальную, довольно-таки наивную речь. Насыр, обращаясь к Оразбеку, говорил в том смысле, что успех Оразбека – это общий успех всех рыбаков, его слава – это слава всего Синеморья. Что теперь он в ответе не только за себя, но и за весь край. Будь здоров, Оразбек. Храни тебя Бог! Аминь!

Позже, когда наступили для Синеморья черные дни, Славиков, Насыр и Кахарман не раз брали златосияющего Оразбека с собой в Москву и Алма-Ату. Оразбек первым из них понял, что сочувствия к иссыхающему морю не добиться – и первым покинул его берега, опередив даже многие русские и немецкие семьи. Когда он пришел прощаться с Насыром, тот даже не взглянул в его сторону. «Уважаемый Насыр-ага! Перед дальней дорогой решил проститься с вами», – молвил он. Насыр, перебив его, ответил коротко и сердито: «Что ж! Счастливого пути. Прощай!» – и отвернулся. «Мы, конечно, все славные сыны Синеморья...» – напыщенно начал оправдываться Оразбек. «Сыны моря, говоришь?! – в бешенстве вскричал Насыр. – Кто ж это тебя так красиво назвал, сукин ты сын! Что ж ты, “славный сын”, покидаешь заболевшего, беспомощного родителя? Да разве ты человек? Что же ты не делишь горькую участь родной земли? Ты предатель – вот ты кто! Ты будешь вкусно есть на новом месте, защитишь тело – но душа твоя так и останется оплеванной теми, кто презрительно посмотрит тебе вслед – твоими земляками! Убирайся!»

Насыр просидел на одном месте, не шелохнувшись до вечера. Он был потрясен. Приходили прощаться женщины, плакали, весь аул охватила предотъездная суета – ничего этого Насыр не видел и не слышал. Два дня пролежал Насыр в постели, отвернувшись к стене, не требуя никакой пищи.

С тех пор Кахарман Оразбека не видел. Его имя перестало упоминаться в печати.

Теперь он смотрел на Оразбека с любопытством. Кахармана поразили его руки – некогда натруженные, шершавые, теперь же гладкие, ухоженные. Оразбек перехватил его взгляд, убрал руки со скатерти и начал говорить, как показалось Кахарману, несколько виновато:

– Правду говорят: если всевышний задумает сбить человека с истинного пути, он прежде всего отнимает у него разум...

Оразбек смолк, как бы предугадывая настроение слушающих. Молодежи в комнате не было, а старики согласно закивали головами.

Оразбек продолжил:

– Пришлось нам оставить Синеморье, дорогие земляки. Не скажу, что жизнь у нас вовсе плохая, но скажу, что душевного покоя все-таки нет. Наверно, мы все понемногу стареем, а в старости человеку как никогда думается о родной земле, о родных краях... Часто у меня перед глазами стоит наше море, дорогие мои земляки, умирает оно, зовет оно меня к себе.

– Иа, Алла!.. – стали вздыхать старухи, старики сидели угрюмые, молчаливые. – Кахарман сегодня сказал все, что у каждого из нас на душе. Да – море надеялось не на Бога, море надеялось на человека. И хоть нет на свете существа, которое было бы беспощаднее, чем человек, но ведь и спасти море может теперь только человек... Вот о чем я теперь думаю... Думаю о том, что я бы мог быть одним из тех людей. Но не стал им. Дорогие земляки! И я, и все мы – в неоплатном долгу перед нашим морем. Давайте не будем забывать об этом – давайте это чувство вины передадим нашим детям и внукам. Как знать, если не мы, то хотя бы они, может быть, возвратят наш долг.

Тут он смолк, подбирая слова – он растерялся, ибо краем глаза углядел, что Марзия смотрит на него насмешливо. В самом деле, казалось, что из всех слушающих только она одна с большим сомнением воспринимает речь Оразбека.

– Ты прав, Оразбек, насчет избытков ума. – Тут все весело рассмеялись.

– Хорошо ты говоришь, складно. – Люди смеялись беззлобно, от души. Оразбек, улыбаясь вместе со всеми, дал понять, что не обижается на острую шутку своей женгей.

– Да, Марзия, ты – достойная, умная женщина, не спорю. Все, наверно, здесь знают, что после смерти Откельды старшие жены его да кумушки принялись ее травить, ей пришлось оставить наши края, с дочкой и сыном на руках. Были люди, которые старались примирить жен, облегчить жизнь Марзие, но старшая байбише проклинала их, ругала их на чем свет стоит. Кахарман не даст соврать, Корлан тоже очень сильно заступалась за Марзию. Однажды она напрямую заявила старшей жене Откельды: «Байбише! Что дурного сделала тебе Марзия, чтобы так сильно поносить ее, не давать ей житья? Одумайся хоть на старости лет, сколько же можно злобствовать? Разве виновата она в том, что ни одна из вас не смогла родить сына на радость Откельды? Не трогай Марзию. Мы не позволим тебе этого. Да и сама подумай: скоро молодые жены уйдут от тебя с первым встречным

джигитом, ты останешься одна – воды будет некому подать. Помни мои слова!» Предсказание ее сбылось. Когда многие уехали из аула в чужие места, байбише действительно осталась одна – больная, немощная, без привычного окружения молодых жен Откельды, которые подались кто куда. Марзия, узнав, что черная байбише попала в беду, отправила за ней Нурлана, чтобы перевезти ее сюда, на Зайсан. И вот уже несколько лет, как байбише живет у Марзии...

Рассказал я все это потому, что у нас зашел разговор о долге. Пусть Марзия будет всем нам примером...

Оразбек с грустью оглядел собравшихся, и после раздумья сказал:

– Когда нам еще предстоит собраться вместе, дорогие земляки, вот так посидеть за разговорами, отдохнуть душой? Приглашаю всех на той, который будет у меня под Алма-Атой – да сомневаюсь, приедете ли. Все заняты, у всех свои дела...

– Кому-кому, а тебе, Оразбек, не следовало бы покидать Синеморье, – промолвила Марзия. – Какой ты показал пример землякам?

– Ты права, – горько вздохнул Оразбек. – Вряд ли поймут меня теперь люди, даже если я ползком вернусь в Караой...

Вскоре гости стали расходиться. Марзия, вставая, обратилась к Кахарману:

– Буду ждать тебя сегодня – приходите обедать к нам вместе со сватами и гостями.

Во дворе, набрав полные легкие прохладного утреннего воздуха, Кахарман почувствовал приятное головокружение. Уже поднималось солнце, небо было бледно-розовое.

Обойдя танцующую молодежь, Кахарман подошел к жениху и невесте, которые сидели на лавочке, а Нурлану сказал:

– Ты устал, наверно, возиться со мной. Можешь не провожать меня, сам доберись до дома...

– Кахарман-ага, побудьте с нами, – обратился к Кахарману жених. Кахарман кивнул, и они с Нурланом подсели к молодоженам.

– Свадьба получилась славная, ребята! – сказал Кахарман – Тамила, Сейхун, будьте счастливы!

– Спасибо, Кахарман-ага... – поблагодарила смущенная Тамила.

Сейхун оживленно заговорил:

– Приезжайте к нам в Алма-Ату, Кахарман-ага. Погостите у нас, посмотрите на наше житье-бытье. Приглашаем от всей души...

– А почему вы не танцуете? – удивился Кахарман.

– Сейхун устал, – ответила Тамила.

Нурлан незаметно тронул Кахармана, и Кахарман понял, что допустил бестактность. Он растерялся, а Сейхун, заметив смущение Нурлана, сказал спокойно:

– Кахарман-ага, я вернулся из Афганистана без ноги. Сейчас у меня протез. Пять месяцев провалялся в госпитале, в Москве. Трудно было врачам наладить кровообращение. Даже здесь, на Зайсане, я долго не мог ходить, вернувшись из госпиталя. Спасибо Тамиле и Нурлану – подняли меня на ноги.

– А где ты познакомился с Тамилей? – любопытно спросил Кахарман.

– Мы знакомы давно, дружили, когда еще жили в Синеморье...

– В общем, школьная любовь, – улыбнулся Нурлан.

– Если бы не она, – Сейхун ласково улыбнулся Тамиле, – не знаю, выжил бы я в госпитале. Мне не хотелось жить. Вернулся из Афгана сам не свой. Если бы вы знали, сколько там ухлопали наших ребят! А сколько раненых умерло здесь!

У нас палата была на пятьдесят человек – в живых осталось несколько человек. Только потом, позже, понял, что тоже был обречен на смерть, да только врачи не говорили об этом. Представляете, каково им: лечат раненых, а сами знают, что дни этих ребят сочтены. Как-то утром я еле доковылял до веранды, сел погреться на солнце. Под верандой из машины стали выгружать цинковые гробы. Я понял – это для нас, обреченных, мы еще живы, а гробы уже готовы. Я потерял сознание, несколько дней был в бреду, но вот в палату вошла Тамила, и я приказал себе: «Нет, ты не умрешь... Ты будешь жить...» – Сейхун нежно обнял молодую жену. – И вот теперь мы поженились.

– У моего алма-атинского друга в Афганистане погиб брат, – промолвил Кахарман.

– Если б видели вы кладбища наших солдат по дороге от Кабула до Саланга – и дальше, до самой границы... Это что-то кошмарное – невозможно смотреть на это без содрогания! Девятнадцатилетние ребята – за что они погибли на чужой земле?! – Сейхун с трудом подавил волнение. – Почему случилось это? Кто ответит?

– У тебя есть награды?

– Два ордена Красной Звезды, медали. Но он их не носит, – ответил Нурлан за Сейхуна.

– И не буду носить, – упрямо сказал Сейхун. – Кахарман-ага, вы за весь вечер не выпили ни одной рюмки. Может, выпьете со мной за ребят, погибших в Афганистане?

– Выпью, – ответил Кахарман и твердо повторил: – За это выпью! Наливай, брат!..

– Сейхун, какие у тебя планы на будущее? – спросил Кахарман.

Сейхун водил прутиком по земле, медлил с ответом.

– Если честно, – начал он, глянув на Тамилу, – мне не хотелось бы оставаться на водоеме под Алма-Атой. Наших, конечно, немало там, но все-таки чувствуется, что мы не на своей земле. Когда вижу, как наши ребята, вырастив в пруду рыбу, ловят ее, мне становится жаль их. Разумеется, Оразбек-ага заботился о людях, когда перевез их поближе к Алма-Ате. И для ребят легче учиться в Алма-Ате. Люди сыты, одеты. Но я не смогу там жить. Никак не могу привыкнуть. Хочу этой осенью вернуться в Синеморье. Я еще не говорил с отцом, но с Тамилей мы договорились. – Он обнял жену.

– Договорились. А если отец не согласится? – спросила невеста.

– Проскользнем мимо границы; не проскользнем, так пробьемся – или же придется зимовать у пруда. – Сейхун озорно засмеялся. – Кахарман-ага, вы правильно сказали – нет без родной земли ни жизни, ни счастья. Правда, без ноги рыбаком я буду не ахти каким, но это ерунда, сгложусь на что-нибудь другое. Лишь бы быть у моря. Поступлю заочно учиться – ничего, проживем, правда, Тамила? Эх, если бы не эта нога! – Он отчаянно стукнул кулаком по протезу.

Кахарман притянул к себе парня. Он ни слова не сказал больше Сейхуну и Тамиле – его чувства были понятны без слов.

В Семипалатинск он прибыл ночью, Айтуган еще не ложилась. Они крепко обнялись на пороге.

– Вернулся... жив, здоров, о господи!..

Кахарман сразу полез под душ, а Айтуган принялась хлопотать у стола. Выйдя из ванной, пройдясь по квартире в своей любимой домашней рубашке, он по-

чувствовал облегчение – с его плеч как будто упал груз, накопленный этой двухнедельной поездкой. Чай был в самом деле хорош, но он так усердно принялся нахваливать его, словно в жизни ему еще не доводилось пить ничего вкуснее и ароматнее. Простодушная Айтуган, влюбленными глазами смотря на мужа, не замечала, что в похвальбах была изрядная доля лести. А Кахарман между тем думал, как, в какой форме сказать жене, что уезжает на Зайсан работать простым рыбаком. Айтуган, никогда не перечившая ему ни в чем, покорно кочевавшая за ним повсюду, теперь могла не понять Кахармана – должна же и ей когда-нибудь надоест эта бесконечная жизнь на чемоданах. Кахарман коротко рассказал о своем двухнедельном путешествии, о замечательном человеке Семене Архиповиче, о Марзие, о свадьбе.

Айтуган невесело вздохнула:

– Здесь, между прочим, тоже последствия взрывов чувствуются. Позавчера среди бела дня меня вдруг начало тошнить. Сижу в учительской, и встать не могу – голова словно каменная, а ноги не держат. А одна из наших коллег преспокойно говорит: опять, наверно, испытания. И точно: вон газета за вчерашний день, там сообщение ТАСС.

«Что можно придумать страшнее, – подумал он, – на территории необъятной Казахии невозможно отыскать уголка, где бы тебя не преследовал страх уничтожения! Все нацелено на уничтожение тебя, других людей, которые рядом, – а может быть, и на всю нацию. Под землей вот уже сорок лет рвутся страшные бомбы, на земле высыхают, гибнут моря. Реки отравлены выбросами химических заводов – по всему побережью рождаются уродливые дети: с двумя головами, тремя ногами. Вот твое будущее, Казахстан! Вот будущее твоей нации, Казахстан. Казахи, куда вам деваться? В тридцатых годах погибло четыре миллиона от голода – нынешняя катастрофа уничтожит всех! Да-да, к началу двадцать первого века, как бы это ни было дико и жестоко, казахский народ будет истреблен! Он превратится в скопище двуглавых, трехногих уродов, ползающих по выжженной, испоганенной земле!..»

– Айтуган, у тебя найдется выпить? – чувствуя, как что-то вновь сдавило ему сердце, чувствуя, что если он сейчас не выпьет, то просто сдохнет от ярости и тоски, спросил он.

– Есть, но стоит ли? – Впрочем, посмотрев на мужа, она тут же принесла бутылку, привычно укорив: – Последнее время ты совсем пристрастился к спиртному, Кахарман, худо это.

– Водка, кстати говоря, единственное средство против радиации, – угрюмо пошутил Кахарман. – Это мелочь по сравнению с тем, что мы пережили с тобой, Айтуган, – так стоит ли об этом?

Он наполнил стакан:

– Без тебя, Айтуган, я становлюсь слабым, потерянным – вот что я понял в последнее время. Хочу, чтобы ты всегда была здоровой, только так мы сохраним наш дом, нашу семью... Пью за тебя!

– Спасибо, что я тебе нужна, Кахарман!

И сынишка стал что-то лопотать во сне: быстро, горячечно.

– Дети очень по тебе скучали... Кстати, почему ты не заехал на Синеморье? Я так переживаю за нашего Бериша, как он там? Страшно иной раз за него становится...

– Не хотел беречь старые раны: эта поездка обернулась бы мукой для меня.

– Ты знаешь, что Камбар-ага умер?

– Да, Болат сказал мне. Что тут удивляться – рак...

Айтуган замолчала, хотя у нее была и приятная новость для Кахармана.хлопоты Якубовского обернулись удачей – Кахарману и Айтуган была выделена двухкомнатная квартира в благоустроенном доме совсем недалеко от казахской школы. Дети были в восторге и упростили мать не говорить пока – они хотели рассказать об этом сами. И сейчас, вспомнив про квартиру, Айтуган тихо засветилась радостью. Кахарман, ничего не зная, с удивлением посмотрел на жену, но разговор о Зайсане решил отложить на завтра.

Утром дети с веселым визгом бросились в постель к Кахарману и, перебивая друг друга, рассказали ему о новой квартире. Кахарман опешил.

– А папочка наш, кажется, совсем не рад. – Айтуган подняла голову от подушки и посмотрела на мужа, начиная догадываться, что Кахарман что-то скрывает от нее.

После завтрака дети убежали на улицу, Кахарман и Айтуган остались одни.

– Иван просил, чтобы ты зашел к нему, как только вернешься, – вспомнила Айтуган. – Говорил, что, возможно, придется идти к первому секретарю. Костюм я приготовила. Ты бы оделся да сходил...

– Это куда не денется. – Лицо Кахармана заметно помрачнело.

Нехорошие предчувствия не оставляли Айтуган. Увидев, что муж нахмурился, она перестала сомневаться в том, что он приготовил для нее какую-то неприятную новость.

– Ты опять что-то задумал, я уже чувствую... Скажи мне откровенно.

– Я хочу уехать из Семипалатинска, Айтуган, – вот и вся моя новость. Работа мне на Зайсане найдется – я уже переговорил с тамошним председателем.

– Какая работа?

– Стану обыкновенным рыбаком. Жилье обещают к следующему лету. Поживем пока на квартире – об этом я тоже договорился с Семеном Архиповичем.

Айтуган была подавлена. Неделию назад она не могла поверить в то, что у них наконец-то решилось с жильем – это было так неожиданно. Но еще неожиданнее было то, что они потеряют эту квартиру, еще не получив ее. Если уж Кахарман что-то надумал, его невозможно остановить. Если он обещал на Зайсане скоро вернуться – значит, так он и сделает, чего бы это ни стоило ему. Всю жизнь Айтуган жила так, словно ее воли не существовало – в конечном итоге все выходило так, как задумывал Кахарман.

Наконец Айтуган проговорила:

– Ты все-таки сходи к Якубовскому. От квартиры пока не отказывайся. А разговор продолжим, когда вернешься, ладно?

После ухода Кахармана Айтуган еще долго оставалась в задумчивости. Ей казалось, будто есть еще какая-то надежда. Что Каспий? Что Зайсан? Кто ждет их там с распростертыми объятиями? Неужто же ему, Кахарману, хочется опять ютиться в тесных, грязных лачугах, принадлежащих бедному тамошнему пароходству? В Семипалатинске же пароходство пополняет свой жилой фонд новыми домами гораздо быстрее, не то что на Каспии или Зайсане. А климат! Буранные ветры, сжигающее солнце могут показаться сущим адом для человека непривычного... Пусть он не думает о себе, но должен же он хоть раз в жизни подумать о жене и детях?!

Так размышляла Айтуган и постепенно стала успокаиваться. Ей стало казаться, что доводы ее неоспоримы и все закончится благополучно. Они останутся здесь... Они укрепятся, заживут наконец как люди.

Кахарман между тем был уже в конторе пароходства. В первую очередь он зашел в бухгалтерию и отчитался за командировку. В приемной у Якубовского посетителей не было, секретарша кивнула на дверь, и Якубовский, говоривший по телефону, приветливо заулыбался Кахарману, махнул рукой, приглашая садиться.

– Рад тебя видеть, Кахарман! Как съездилось? Утешил ли тебя Саят?

– От Саята тебе привет. У него, в общем, все нормально...

– В курсе ли ты? Тут на днях к нам приезжал Акатов, министр. Вы, кажется, знакомы с ним?

– Да, еще по Синеморью. Он там был председателем облисполкома.

– У них, оказывается, был разговор с нашим первым секретарем обкома Бозгановым – о тебе. Первый интересовался, какого я мнения о тебе, запросил личное дело. Узнав, что ты без жилья, дал задание горисполкому, квартира нашлась мгновенно. Хорошая квартира! Наконец-то я могу смотреть на Айтуган не пряча глаза – замучалась она в этой халупе. И вообще – сильно рад за вас! Моя Валюша говорит: как только приедет Кахарман – приглашай их к нам в гости, всем семейством. Первый секретарь хотел познакомиться с тобой. Так что я звоню ему. – Якубовский снял трубку.

Бозганов пригласил их на предобеденное время. Сухощавый, смуглый человек встретил их приветливо, сразу же пригласил сесть.

– О вас, Кахарман Насырович, мне много говорил Акатов. Как, впрочем, и Якубовский.

Бозганов принялся расспрашивать Кахармана о положении дел на Каспии.

– О чем вам рассказать? – спросил Кахарман. – О том, что видел, или о том, что слышал?

– Давайте будем откровенны, Кахарман Насырович, – как того требует перестройка. Расскажите о том и о другом.

– Перестройку я пока не вижу. Вижу только на бумаге. – Кахарман помрачнел, услышав слово, которое теперь употреблялось всюду и которое манило его к себе, но и мучило тем, что он пока что не имел к перестройке никакого отношения, равно как и она к нему.

Якубовский обеспокоенно посмотрел на Кахармана – он был напуган такой его откровенностью. Но секретарю резкие слова явно понравились.

– Вы правы. Темпы перестройки не удовлетворяют никого. Перестройка должна идти не столько сверху, сколько снизу. Смешно полагаться на наш бюрократический аппарат – уж он-то никогда не начнет перестройку.

– В этом я убедился лично. Я подолгу жил в Москве, ходил в учреждения и конторы, всем рассказывал о бедственном положении нашего края, стараясь добиться хоть какого-то сочувствия. Госплан я исходил вдоль и поперек. Каких я видел там очаровательных дам! Каких упитанных, холеных мужчин! Они приходят в девять, уходят в шесть – весь день они на работе пьют чай, весь день отвечают посетителям: приходите завтра, послезавтра, через месяц, через год, а лучше никогда, лучше исчезните вовсе, умрите. А какие там специалисты! С трудом найдут на карте этот самый Казахстан, о котором я говорю им многие годы!

Кахарман рассказал ему обо всем, что он видел за эти пятнадцать дней на Каспии. Когда речь зашла о свадьбе, об Афганистане, резко встал и беспокойно заходил по кабинету. Кахарман догадался, что и он потерял кого-то в афганской войне, и пожалел, что завел об этом разговор. Он растерянно смолк.

Секретарь промолвил:

– В прошлом году в Афганистане убили моего брата – он был военным... Недавно в ЦК я поинтересовался, сколько казахов погибло в этой войне. Никто не знает – учета не ведется...

– Учет? – язвительно воскликнул Кахарман. – Какой учет, к чертовой матери! Кому он нужен, этот учет, в стране, где другая цифра стала святыней!

– А если посмотреть шире, – продолжал Бозганов, – мы дошли до крайней степени обнищания – и в области духовной культуры тоже! Хорошо бы поставить памятник жертвам Афганистана, да только посмотрите, такое у нас отношение к подобным инициативам. Памятник Мухтару Ауэзову, проект которого был готов еще десять лет назад, мы возвели только в этом году! В Семипалатинске, в этой Мекке казахской культуры, все разваливается, все прошло в запустение. А я знал его другим в годы молодости. Я помню небольшие красивые купеческие дома из красного кирпича. Они были выложены по фасаду орнаментом. Я помню старинные фонтаны, помню сады,... Что же сейчас? На этом месте теперь железобетонные коробки, от которых воротит с души, улицы с безликими, скучными названиями – не на что посмотреть, не на чем глазу отдохнуть...

Чувствовалось, что секретарю было что сказать. В нем угадывался человек мыслящий, начитанный. Кахармана всегда тянуло к таким людям. Под стать его душевному устройству слова секретаря были откровенны, весомы, но не было в них той доли злобы или отчаяния, которые порой проскальзывали в горячих рассуждениях Кахармана, уменьшая весомость его аргументов.

Однако время их встречи подходило к концу. Бозганов, провозжая гостей, сказал в дверях, обращаясь к Кахарману:

– Совершенно случайно узнал, что мой предшественник собирал на вас компромат. Я закрыл это дело. Хочу добавить, что он был неглупым человеком, в чем-то даже и достойным. Не думаю, что он занимался этим из собственных побуждений – похоже, что на него кто-то давил сверху... Так что работайте спокойно, Кахарман Насырович, и давайте поддерживать самые тесные отношения.

– Идет, – улыбнулся Кахарман. – Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за хлопоты... – Кахарман имел в виду предоставленную квартиру.

– Живите на здоровье, – улыбнулся в ответ секретарь, сразу же поняв, о чем идет речь.

Когда вышли из здания обкома, Кахарман обратился к Якубовскому:

– Послушай-ка, ты знал, что на меня собирают компромат?

– Знал. Не хотел лишний раз тебя огорчать. На меня он тоже собирал материалы...

– Ну и Шерлок Холмс, – развел руками Кахарман, садясь на заднее сиденье машины. – Сволочь какая! – не удержался он.

– Оставим этот разговор. – Якубовский хлопнул дверью, и они тронулись. – Подброшу тебя до дому. После обеда езжай в горсовет: выясни, какие документы нужны, чтобы получить ордер. А вечером я заеду за вами, как и договаривались

Кахарман рассеянно кивнул. Не шла из головы эта фраза: «Мой предшественник собирал на вас компромат». Да, тут дело рук приморского «царька» – Кахарман понял это совершенно точно. Вот она, неискоренимая дикость нравов!

Вот они гнусные, мерзкие привычки рабов! И этих людей надо перестраивать? Нет, их гнать надо в три шеи – перевоспитанию они уже не подлежат.

Ордер на квартиру он получил в тот же день. До вечера еще осталось время, и Кахарман решил показать квартиру жене и детям. Айтуган, перешагнув порог, не удержалась от слез. Мальчишки, не обращая на родителей внимания, бегали по квартире словно оголтелые: смеясь, выбегали на балкон, хлопали дверями в ванной, в туалете, радостно прыгали в прихожей. Потом они ринулись включать горячую воду, Айтуган поспешила следом, боясь, что дети могут обжечься. Кахарман, глядя на радостное свое семейство, сильно усомнился в том, что ему удастся теперь попасть на Зайсан.

– Завтра же переезжаем! – решительно заявила Айтуган, утирая слезы.

– На Зайсан? – вяло пошутил Кахарман.

– Нет, сюда, – мягко, но решительно ответила Айтуган и с любовью посмотрела на мужа.

Когда Иртыш взялся льдом и суда встали на ремонт, Кахарманом овладела прежняя тоска. Теперь даже летняя его незамысловатая работенка казалась ему не такой постылой, как ремонт дряхлых барж, которым занималось пароходство каждую зиму. Другой же работы для него пока не находилось...

Он стал больше пить, как его ни укоряла Айтуган. Только тогда его оставляла тоска. Но спасение это было, как правило, кратковременным. Ибо после определенной дозы выпитого его крайне истощенная нервная система становилась невосприимчивой к дальнейшим порциям алкоголя, что оборачивалось мучительной бессонницей. Часто случалось так, что длинные зимние ночи он просиживал на кухне – много курая, уставившись изможденными, воспаленными глазами в одну точку. Только под утро приходил сон. Спал беспокойно: ворочался, что-то бормотал, иногда всхлипывал, словно маленький ребенок.

В одну из таких ночей ему снова приснилась Ата-Балык.

Как давно он не бывал в море! Он, наверно, уже тысячу лет не плавал в море, вот почему так счастлив, оказавшись опять в его глубоких волнах. У него чистые, розовые легкие, которые дышат свободно и глубоко, у него сильные, гибкие руки, узкие бедра, ему так легко плыть по волнам – не давит на плечи тяжесть прожитых лет!

Проплывая мимо, Ата-Балык узнала его, повернула к нему и поплыла рядом, ласково просунув голову ему под локоть.

Ата-Балык выглядела на этот раз сытой, она была гладкая, сильная и потому так же легко, как Кахарман, скользила по воде.

«Откуда ты плывешь, Ата-Балык?» – спросил ее Кахарман.

«Ты не знаешь, откуда я плыву?» – рыба недоверчиво посмотрела на сына рыбака Насыра.

«Нет...»

«Из тех миллионов нерестовых икринок, которые были оставлены в Дарье, я вырастила мальков и теперь возвращаю их Синеморью».

«Счастливого пути, добрая Ата-Балык!»

«Да сбудутся слова твои, человек!»

И хоть путь, пройденный ею к морю, был немалый, выглядела она бодрой. Кахарман обернулся. Поток мальков, плывущих за Ата-Балык, был бесконечен. Вдруг она резко метнулась от Кахармана. Это она увидела огромного хищного сома, который уже раскрыл жадную пасть и готов был заглотить изрядную порцию беззащитных мальков. Ата-Балык метнулась к сому и ударила его мощным движением хвоста. Неожиданный удар опрокинул сома. Он бросился на Ата-Балык, но был побежден новым ее ударом.

Тогда голодный сом поплыл в направлении берега. Подплыв, он стал высматривать на берегу сумасшедшую старуху с козой. Пес, который не оставлял старуху и козу ни на минуту, стал отчаянно лаять, завидев сома. Коза решила увести своих деточек подальше от воды. Долго сом наблюдал за козлятами, но понял, что и на этот раз ему не удастся застать их врасплох. Тогда он подплыл к самому берегу, положил свою большую голову на песок и вдохнул вслед удаляющейся козе и ее деткам. Кызбала, ни на что не обращая внимания, бродила по берегу. Сом знал ее давно, Кызбала тоже его знала – на ее глазах он однажды проглотил всадника вместе с лошадьёю. Кызбала, видя сома, всегда думала об одном и том же: «И что за жуткая сила заключена в этой рыбе? Ни одна сеть не может ее поймать. Я увидела сома впервые, когда пришла в Караой совсем молодой невесткой. Теперь эта невестка давно превратилась в дряхлую старуху, а сом все живет...» Конечно, это не было раздумьем в прямом смысле слова, ведь Кызбала постоянно была не в себе – скорее это было мимолетным прояснением мысли прояснением сознания. Сом же, глядя на сумасшедшую, думал, наверно, в свою очередь, вот что: «Зачем живет эта дряхлая женищина? Какая радость, какой смысл в ее жизни? Удивительно устроен человек – до последних своих дней он надеется и верит. Только море с каждым годом все меньше и меньше отвечает его надеждам. Так и должно быть: человек все эти годы не знал к нему жалости – так что и ты, Кызбала, не жди от него милосердия и сострадания...» Так, наверно, думал сом, припоминая, между прочим, что сына Откельды Кайыргали и ее сына Даулета проглотил много лет назад он. Казалось, что Кызбала об этом смутно догадывалась всегда – очень уж пронзительным был ее взгляд, когда сом встречался с ней глазами. Он, бывало, совсем близко подплывал к Кызбале, когда та сидела у самой воды, все высматривая и высматривая своего сына в море. Нередко он открывал пасть, чтобы проглотить ее, но в это самое мгновение она обычно резко оборачивалась к нему и бросала на него такой беспощадный взгляд, что ему ничего не оставалось, как пятиться назад.

Вот и теперь, когда он поравнялся с ней и поплыл рядом, надеясь на ее оплошность, Кызбала гневно замахала на него руками: «Убирайся прочь! Прочь с моих глаз, старый дурак!» Сом вдохнул и стал уходить в море. Вскоре он снова столкнулся с косяком мальков, но, помня грозное предупреждение Ата-Балык, от которого у него до сих пор побаливали бока, стал опасливо огибать стаю. Длинный, плотный косяк уходил вперед. Ата-Балык, выскользнув из-под руки Кахармана, обернулась и проговорила: «Прощай, Кахарман! До встречи!..»

И быстро скрылась...

А Кахарман остался в море. Он вдруг почувствовал то знакомое, леденящее чувство одиночества, которое столь часто посещало его в минуты самой глубокой, безнадежной депрессии. Он почувствовал, как это леденящее ощущение

с катастрофической скоростью наполняет его тело – обернулся и понял, что было причиной этого одиночества и ужаса. За его спиной маячил черный сом. Он открыл пасть, и Кахармана неудержимо повлекло в эту пасть. И хоть ничто теперь уже не могло спасти его, выставил вперед руки и... проснулся от звона разбитой бутылки.

Он был весь в липком, холодном поту. Встал, смочил полотенце и стал растираться им в ванной. Именно в эту ночь и пришло к нему твердое, окончательное решение: он должен ехать на Зайсан! Должен сделать это не откладывая!

Назавтра отправился к Якубовскому. Кахарман начал без предисловий:

– Ты еще не потерял мое заявление? Достань его и подпиши. Ни дня не могу здесь больше! Верить или нет: каждую ночь снится море, снятся рыбы...

– Надо меньше пить, Кахарман, – пошутил было Якубовский. – Так и сам черт может присниться...

– Ты достанешь его или мне написать новое?

– Подожди, не горячись, дай мне собраться с мыслями. Прямо как снег на голову...

– Ваня, ты всегда понимал меня. Давай не будем играть в прятки!

– Хорошо, уезжай – удерживать не стану, знаю, что бесполезно. Но сначала вот что: зайди к первому секретарю. Он ведь подыскивает тебе работу. Объясни ему все сам, а то мне неудобно как-то... – И Якубовский снял трубку, чтобы позвонить в обком.

Кахарман положил свою ладонь на его руку.

– Не стоит, он все поймет правильно, он неглупый человек...

– Черт с тобой! – махнул рукой Якубовский.

И на следующий же день Кахарман покинул Семипалатинск.

Спустя неделю на пленуме обкома первый секретарь и Якубовский столкнулись в кулуарах лицом к лицу.

– Хорошо выступили, Иван Трофимович! – Первый секретарь одобритительно пожал Якубовскому руку. – Буду верить, что слова ваши не разойдутся с делами...

Да, наконец-то решили вопрос с Насыровым. К сожалению, только теперь. Сильно затянул это дело орготдел. Насырову мы хотим вручить очень ответственный участок. Как вы полагаете, он справится?

– В Кахармане я не сомневаюсь!

– В таком случае надо исправлять оплошность. Пусть завтра к трем часам Насыров пойдет к товарищу Митрофанову.

– Буду ждать, – улыбнулся Митрофанов.

– Насыров уехал на Зайсан, – ответил Якубовский.

– Тогда сразу же, как только вернется.

– Он не вернется. Он уехал на Зайсан навсегда.

– Как это навсегда? – не понял первый секретарь. – Его пригласили на работу?

– Нет, его никто не приглашал. Съездил туда и напросился рядовым рыбаком.

Его трудно не понять: он родился и вырос на море. Жизнь на суше не по его нутру.

Лицо Бозганова помрачнело.

– Что же мы делаем?! Если мы в таких темпах будем решать вопросы с кадрами – мы растеряем стоящих, знающих людей и опять к нам полезут карьеристы и дельцы! Да ведь мы задушим перестройку в самом зародыше!

На Зайсане был уже глубокий снег, озеро было сковано льдом. Кахарман вылез из попутки и с маленьким чемоданчиком в правой руке подошел к дому Семена Архиповича. Семен Архипович не признал его в зимнем пальто и шапке, кроме того, мешали клубы пара, в которых затерялся на какое-то время Кахарман, открыв дверь избы. Семен Архипович стучал молотком по наковаленке. Он не прекратил своей работы, лишь мельком оглядел вошедшего.

– Ну что ты встал посреди комнаты, гость дорогой? Проходи, раздевайся. – Голос Семена Архиповича был теплый, радушный. – Хоть ты и гость, но попросу тебя о небольшой услуге. Набери в чайник воды и поставь на плиту – вода как раз на выходе, по левую руку, в бочке. А я сейчас закончу работу – и попьем чайку.

Кахарман кинул чемоданчик в угол, повесил шубу, поставил на плиту чайник и подбросил в печку угля.

– Проходи в дальнюю комнату, – все так же не оборачиваясь, предложил хозяин. – Посиди, отдохни.

Кахарман прошел. Еще в первый свой приезд он обратил внимание на неплохую библиотеку, собранную Семеном Архиповичем, но тогда у него не было времени просмотреть книги, лишь отметил для себя, что среди них было много старинных. На видном месте расположилось старое потрепанное полное собрание сочинений Льва Толстого – все девяносто томов. На столе у окна тоже лежала книга Достоевского, «Дневник писателя». Стал читать с заложенной страницы, потом дальше, обращая внимание на подчеркнутые карандашом места.

«...Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность: сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить: там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских...

Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, – взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет толчок, а не нормальное дело: так сказать, потрясение, а не просвещение...

Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых: и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагоги он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди – это самое главное. Люди дороже даже денег...

Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею историческою жизнью страны...

Народ закутил и запил – сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь?

Теперь в иных местностях кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков: мало того – для малых десятков. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укывательством, ростовщицеством, разбоем, разрушением семейства с стыдом народным – вот чем они окупаются!..»

«Как живо мысли и чувства Достоевского перекликаются с сегодняшним днем!» – подумал Кахарман.

«...Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают: бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли: а в кабак приняли! Спросите одну лишь медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?..»

Если в текущие десять, пятнадцать лет склонность народа к пьянству не уменьшится, удержится, то не оправдается ли и вся мечта? ...Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил: найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, – вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция.

Не захочет он сам кабака: захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..»

С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть не лгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи: лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями.

Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас в огромном большинстве лгут из гостеприимства. ...На что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя... Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить».

Чайник стал закипать, Семен Архипович отложил молоток и быстро встал. Кахарман вышел из дальней комнаты.

Семен Архипович оторопел:

– Ты, что ли, Кахарман? – Они обнялись. – Прости, принял тебя за кого-нибудь из своих, у меня ведь много толчется народу.

Кахарман стал выкладывать на стол подарки:

– Это вам, это тоже... У меня для всех подарки – и для Балзии, и для Дуйсена, и для тети Марзии...

– Эти положи пока обратно. Спасибо за внимание, Кахарман.

Вскоре он почувствовал себя совсем хорошо. За чаем, за разговорами быстро прошла скованность, и он опять подумал, что Семен Архипович – это, пожалуй, единственный человек, с которым он может существовать не таясь, на пределе откровенности. Не совсем еще опаршивела жизнь, если встречаются среди людей такие, как Семен Архипович. Его всегда тянуло к людям сложной, нелегкой судьбы – в них было что почерпнуть Кахарману, было чему поучиться, и, в первую очередь, доброте и человечности. Его сильно взволновали жизненные перипетии

человека, прижившегося в казахской семье – заменившего казахским детям и отца, и старшего брата.

Семен Архипович стал собираться к Балзие:

– Пора бы ей вернуться из школы, пусть позаботится об ужине.

Кахарман осторожно тронул его за локоть:

– Может, не стоит беспокоить молодых? Еды нам хватит...

Семен Архипович задумался:

– Неудобно. Потом возьмут да обидятся...

– Ну что они – совсем маленькие, чтобы обижаться по пустякам?

Тем не менее он отправился, а вернулся совсем скоро.

– Балзия уже дома. А мы пока давай по рюмочке?

Он наполнил стаканы, приятное тепло разлилось по телу Кахармана, когда одним махом опрокинул свой. Уже темнело. Семен включил электричество.

– Устал? Может, приляжешь до ужина?

– Не стоит. – Кахарман вспомнил обещание Семена Архиповича. – Когда же я услышу историю про то, как вы оказались здесь?

– Это длинный рассказ, – повторил Семен Архипович, и Кахарман невольно залюбовался им – крепко сбит был этот человек, и хоть лежала на его лице печать жизненной усталости, тело его оставалось еще сильным, полным энергии.

– Что за жизнь была у нашего поколения, Кахарман! Жернова этой жизни мололи нас от всей души. Иногда закрою глаза и думаю: зачем она была, наша жизнь-то? Для чего? Я тебе уже говорил – отец был арестован, вскоре арестовали и мать, а меня направили в интернат для детей врагов народа. После войны разыскивал мать, но так и не разыскал. Потом уехал на Дальний Восток, плавал матросом... – Семен Архипович нахмурил рыжие, густые брови. – Думал, что забуду о матери, уехав подальше от родных мест. Да нет – не дано человеку забыть мать. Я постоянно думал о матери, всегда чувствовал себя одиноким. И это одиночество стало для меня страшной пыткой. Как только я возвращался на берег – беспробудно пил, чтобы забыться. Не сказать, чтобы я допивался до белой горячки, но черти и чертики посещали меня часто. Помнишь, в «Братьях Карамазовых» как к Ивану приходит дьявол? Эти дьяволы, ей-богу, стали моими друзьями. Я пьяный вдрызг возвращался в свой рыбацкий барак, падал на пол, на солому, и мне снились цветные сны. То есть эти дьяволы приходили ко мне-то красные, то зеленые, то еще какого-нибудь цвета. Зеленые были самые разговорчивые, а по делу соращения – самые искусные. Одного из них, самого гнусного, самого изворотливого, я назвал Азгыром, собственно – совратителем. Стоило мне его кликнуть: «Азгыр!» – он тут как тут. «Что скажешь?» – кланялся он, и хитрая, гадкая улыбка блуждала на его лице. «Скучно мне, а сказать нечего...» – отвечал я. «А вот мне есть что сказать, дружище. Хочу спросить: не слишком ли много ты пьешь? Пьешь и не закусываешь». – «Загляни в мои карманы – в них пусто. У меня есть деньги только на водку». – «Э, дорогой, если будешь пить не закусывая, быстро износишься и сохнешь». – «Брось, Азгыр, меня смерть не берет к себе ни под каким предлогом. Не нужен я ей – это я давно понял». – «Дурак! Это мы тебя не хотим отдавать смерти». – «Вы? Чего это ради?» – «А ты не понимаешь? Нам неинтересно соращать людей слабых, никчемных. Но если нам удастся сбить с пути таких людей, как ты, – наша жизнь продлевается на целый век. Теперь ты понимаешь, слуга дьявола Семен Архипович? В такие дни боженка в трауре.

Наглухо закрывает окна и двери и целыми днями рыдает, Семен Архипович. Подумать только – он печалится о том, что нет радости в мире, сотворенном его руками! Мы, дьяволы, первые предали его, нашему примеру последовали люди. В ночь, когда нам удастся совратить человека, когда нам удастся придать ему облик зверя, бог в отчаянии кусает себе локти». Я призадумался: что же остается делать мне, грешному и маленькому, если сам бог в такой глубокой печали? «Верно мыслишь, – угадал мои мысли Азгыр. – А теперь сделай правильный вывод: пей, люби женщин, совращай их с истинного пути, совращайся сам и не думай о завтрашнем дне!» – «Прочь! Прочь!» – обычно кричал я ему, когда разговор доходил до этого. «Что же ты со мной так невежливо? – кручинился он. – Хочу сказать тебе по секрету: совесть – болезнь заразная. Многие из дьяволов, воруя совесть у людей, сами становятся совестливыми. Бывает, пошлешь такого на греховное дело – отказывается, совесть, говорит, не позволяет...» – «Азгыр! – перебивал я его. – Покажи мне хоть одного совестливого дьявола. Или ты врешь мне? Что-то ни разу не приходилось мне встречаться с такими». – «Хе-хе! Они лечатся у нас в психушках. Лучшие врачи вытравливают из них совесть. Вскоре они становятся нормальными дьяволами, сердца их чернеют, они возвращаются на прежнюю службу. Тот красный мой брат, что иногда посещает тебя, – как раз из тех, кто лечился в больнице. Их специально окрашивают в красный цвет, чтобы не путаться». – «Наверно, его вылечили не до конца...» – «Почему?» – «Он все время призывает меня к революции. Чудак! Семьдесят лет прошло после нашей революции, все так крепко завинчено, что никто уже никогда не совершит никакой другой революции». – «Хе-хе, узнаю их несдержанность. Но тебя-то он и погубит, этот красный дьявол. Потому что ты боишься его...» – «Нет! – кричал я тогда гневно. – Может, и совратили вы человека, но бога вам, шакалам, никогда не одолеть». И я швырял в него ботинком или табуреткой.

А мне пришли другие интересы. Записался в библиотеку – стал много и жадно читать. Не оставлял это занятие и в плавании – книги брал с собой. Наш капитан Максимов тоже был книголюбом, на этой почве мы с ним сошлись. Он и раньше замечал меня, но сторонился – очень уж крепко я пил, хотя ругать не ругал, скорее, жалел. На берегу он стал частенько приглашать меня к себе в гости. Чудесная была у него жена – интеллигентная женщина, таких русских женщин теперь и не встретишь.

Он помолчал – видимо, собирался с мыслями.

– Русские... Не суди строго, Кахарман, тех русских людей, которые растеряли свои корни – не всегда они сами виноваты в этом. И не все они плохие. Я хоть и сжился с казаками, но весь остаюсь русским до мозга костей, за Россию я готов на плаху пойти – и это, наверно, совершенно естественно. Хотя иногда бывает поучительно наблюдать за своим народом со стороны. Про русский народ я скажу тебе так: сегодня он нуждается в беспощадной критике. Завтра может быть поздно. Порой мне кажется, что русского человека кто-то намеренно ввел в заблуждение, называя его великим народом, неумеренно возвеличивая. Знаешь ли, мне шестьдесят два года, но все меньше и меньше я испытываю радости, когда слышу: «русский народ, русские люди». Да, он породил великих людей, гениев – Пушкин, Толстой, Достоевский, но что из себя представляет он сейчас? Не помню, кажется, читал у Чаадаева: все нации как нации, и только русские созданы для того, чтобы ужасать мир.

И даже Пушкин, которого мы почитаем как великого выразителя нашего русского духа, не раз восклицал: «Черт меня дернул родиться в России!» Кто сейчас скажет народу подобные отрезвляющие слова? До каких пор мы будем находиться в чванливом самодовольстве? Весь мир тычет в нас пальцем и лукаво улыбается: король-то голый!

Семен Архипович ушел в большую комнату и вернулся с раскрытой книгой.

– А теперь послушай, что говорил о своем народе Абай. – Семен Архипович надел очки и процитировал: – «...*Невежество, доставшееся от отцов, впитавшееся с молоком матери, пройдя сквозь мясо, достигло костей и убило в нем человечность. Между собой у них, моих земляков, какие-то ужимки и кривляния, шепотки да двусмысленные намеки, ничто более увлекательное на ум не приходит. Они пытаются думать, но им некогда сосредоточиться на своей мысли. Говоришь с ними – они и слушать со вниманием не могут: глаза их бегают, мысли разбредаются. Как жить? Как нам быть дальше?»*

Потому ещё велик был Абай, что не заигрывал со своим народом, а говорил о нем такие беспощадные, жестокие слова! Не знаю, как с Абаем, но мы, русские, не любим цитировать нечто подобное из наших классиков – мы любим бить себя в грудь и повторять: великие! великие! Ни один народ не говорит о себе такого! Боже! При всей нашей болезненной самовлюбленности – «мы ленивы, нелюбопытны»: к этим словам Пушкина добавить нечего!

В шестидесятых годах я впервые приехал на Зайсан в поисках матери и был поражен, встретив одного старца. Это был глава семьи чабан Даулеткерей. Он мастерски играл на домбре, он знал великое множество народных преданий – слушать его можно было бесконечно. Какое глубокое знание народной истории, знание своих корней! А кроме того, он великолепно владел арабским языком – простой чабан! А возьми нас, русских. Какой уж там арабский язык – кто-нибудь из русских руководителей у нас в республике знает казахский? Да ведь это элементарное хамство по отношению к казахам – жить среди них и не знать их языка! В пятидесятых годах этого стыдились – в Казахстане было много русских и немцев, которые прекрасно говорили на казахском. В том числе и моя мать – она на казахском переписывалась с Мухтаром Ауэзовым.

Кахарман слушал обстоятельный рассказ с возрастающим любопытством. Особенно его поразила цитата из Абая.

– Жену Максимова звали Анфисой Михайловной, – продолжал рассказывать Семен Архипович. – Со временем она стала пенять мне: не дело, дескать, когда мужчина живет бобылем, Семен. У нас тут такая хорошенькая девушка в соседнем доме, ты на нее – ноль внимания. Хочешь, познакомлю? Вдруг понравится друг другу, а там и поженитесь? Я смущенно отмалчивался. Надо сказать, что в любви я был идеалистом – наверно, как и все дети учителей, по крайней мере, тогдашних.

Тем не менее, в следующий раз я застал у Анфисы Михайловны симпатичную девушку – это была она, и я ее прекрасно знал, библиотекаршу Машу. Улучив момент, Анфиса Михайловна шепнула мне: как тебе Маша? Хорошая девушка, ответил я. Она в тебя влюблена, между прочим. Надо это ценить, Семен.

Скоро Анфиса Михайловна принялась хлопотать о свадьбе. Мне было неудобно – где взять денег? Анфиса Михайловна успокоила: свадьбу будем играть у нас, свадебный стол беру на себя, тебе остаются только расходы на свадебные наряды. Возьми у кого-нибудь в долг. Мы бы и сами дали, если бы могли...

У меня был хороший друг Володя Анчишкин, по национальности, как он говорил, хакас, решил подзанять денюжат у него. Добрый это был старик. Его тоже много помытарило в жизни, но он не озлобился. Лишь потом, когда я, отсидев в заключении, вернулся через десять лет лагерей, мне стало известно, что был он вовсе не хакасом, а самым настоящим казахом по имени Кудайберген. В двадцать четвертом году его обвинили в бандитизме, в контрреволюционной деятельности, арестовали, он бежал, укрывался в Сибири, затем попал на Дальний Восток.

На следующий день я отправился к Кудайбергену. Старики меня встретили приветливо, усадили за стол, долго кормили. Наконец я стал излагать свою просьбу – путано, сбиваясь с мысли. Кудайберген коротко спросил: сколько нужно денег? Я попросил рублей сто пятьдесят. А не мало будет? – усомнился он. Нет, Семен, рассудил Кудайберген, свадьба у человека бывает раз в жизни. Не надо тут скупиться. Ты парень стоящий – и свадьба у тебя должна быть хорошая. Возьми триста, но с одной просьбой. Пусть эти деньги будут нашим тебе подарком.

Я уперся, самолюбивый был: нет, только в долг! Тогда старик решил схитрить. Хорошо, сказал он, половину в долг, а половину – в подарок! Но долг вернешь, когда разбогатеешь. Я согласился. Мы с Машей поженились, у нас родилась дочь. Казалось, что я навсегда распрощался со своей неприкаянностью, у меня началась новая полоса в жизни. Но Маша оказалась женщиной недалекой, во многом легкомысленной, питала слабость к украшениям и деньгам. Бог ее простит. Самое главное, что ребенок у нас рос запущенным, дочку она все-таки любила и уделяла ей много времени.

В пятьдесят первом году, возвратившись из длительного плавания, я получил письмо. Оказалось, что мать моя действительно жива, указывался и адрес ее – конечно, лагерный.

Я тут же сел писать ей письмо. Исписал целую тетрадь, написал все, что мне пришлось пережить. Дочурка проснулась среди ночи и спросила: папа, чего ты все пишешь? Я поцеловал ее: «Доченька, твоя бабушка жива, понимаешь ты это – жива! Скоро ее освободят из тюрьмы и все мы заживем вместе. Ты хоть знаешь, как зовут твою бабушку? Не знаешь? Ее тоже зовут Надеждой. Я назвал тебя именем своей матери, Наденька!»

Но не успел я отправить это письмо. Рано утром меня увели. Ничего не дали сказать жене, а я всего лишь хотел попросить, чтобы она письмо отправила по адресу. В НКВД было достаточно сведений обо мне: знали, что мать моя в лагерях, а сам я – сын врага народа. Взяли же меня за то, что я когда-то кому-то сдуру ляпнул: войну мы выиграли большой кровью, забросали фашистов трупами как шапками. Вполне такое мог сказать, изрядно выпивши. В этом я признался. Следователь прищурился: «Войну, Трофимов, выиграл товарищ Сталин. Сталин! Так какого хрена ты мелешь всякую чепуху? Ты же сам ходил в атаку и кричал: За Сталина! Ты что, забыл, пес! Ты что, забыл, выродок?!» – «Ходил, – ответил я. – И все мы кричали: за Сталина! Я – русский солдат. Русский солдат дрался за Сталина, погибал за Родину». – «Верно говоришь! – Следователь схватил меня за ворот. – Красивые песни поешь!» Я отбросил его руку и в тот же миг получил сильный удар кулаком в лицо. Брызнула кровь, а при виде крови я становился невменяемым. Я вскочил и ударил следователя ребром ладони – тот рухнул. Еще бы! Я был из тех десантников, которых называли сталинскими головорезами.

Я мог прикончить человека одним ударом – кулаком, ножом, рукояткой пистолета или прикладом автомата. Этим я сейчас не хвастаюсь.

Чем дальше живет человек, тем совестливее он осмысливает свое прошлое – от этого человеку не уйти. Война войной, но сейчас я не могу понять: как мы могли убивать таких же молодых ребят, какими были и сами? Как мы могли резать, стрелять, душить этих пацанов – ведь все они были чьи-то дети, всех их ждали матери. Нет, теперь этого я понять не могу. Хотя... и они ведь то же самое делали...

Следователь очухался и пулей вылетел из кабинета. Я понял: сейчас он вернется, и не один. Скинул куртку, чтобы было легче. И чего я так? Как будто не знал, что они были такими же головорезами, каким я был на войне. Хотя... они были куда хуже... они просто сволочи были! На войне мы убивали врагов, а эти губили своих соотечественников, своих земляков – просто так, не задумываясь. Били человека так, что он превращался в кусок мяса...

На меня бросились двое. И хоть было тесно, я раскидал их. Они не поднимались. Я повернулся к следователю, готовый прикончить его на месте, но в комнату ворвались еще люди, мгновенно оказались сзади, придавили меня и принялись лупить. Не знаю, сколько они меня били – минуту? час? сутки? Очнулся я на каменном полу. Тело мое было – одна сплошная боль. Снова потерял сознание, снова пришел в себя. Были сломаны ребра, переломана правая нога. Только на второй день удалось приподнять голову и осмотреться. Я лежал в тесном карцере. Губы слиплись от запекшейся крови. Со скрежетом открылась железная дверь – вошли следователь и надзиратель. «Воды! – стал хрипеть я. – Воды дайте, звери...» – «А пивка холодного не лучше будет?» И следователь ударил меня. Я снова потерял сознание. Пришел в себя, когда надзиратель плеснул водой мне в лицо. «Итак, Трофимов, кто же выиграл войну? – продолжал куражиться следователь. – Трупы выиграла? Молчишь. Нет, гнида, живым я тебя отсюда не выпущу! Нужно таких, как вы, с корнем выкорчевывать».

А я лежал и думал: «Вот они: те самые гады, которые истребляют свой народ! Кто они? Откуда они взялись? Кто им дал власть? Кто?»

В общем, сунули мне десять лет. Дали одно свидание с Машей. Я спросил у нее о том письме. «Отправила, отправила...» – закивала она, плача. «Пусть наша дочка будет счастливой!» С того дня мы уже не виделись с ней никогда. Она не дождалась меня: вышла замуж, уехала в Новосибирск. С дочерью виделся дважды в Алма-Ате. Ежемесячно отправляю ей деньги. От денег Надя не отказывается, а встречаться со мной не хочет.

– Почему? – удивился Кахарман.

– Ну как же! Положение не позволяет: свекор ее был в эшелоне ЦК, как вырезаются. – Откроешь праздничные газеты – он тут как тут, на трибуне.

– В Алма-Ате?

– Ну да. Правда, в последние год-два что-то не вижу я его фотографий: то ли сняли, то ли на пенсию отправили...

Так... Что же дальше было? А, вот! С образованием у меня не густо было – всего семь классов. Отсидел свое и поехал в Свердловск поступать в техникум. Директор очень сильно удивился моим знаниям. «Парень, – сказал он, – да тебя можно брать в институт на четвертый курс!» Техникум я закончил быстро, за год. Ты удивляешься, Кахарман, но ничего особенного в этом нет. Знал бы ты, с

какими людьми я сидел! И Академия наук, и Союз писателей – все образованное общество оказалось в лагерях! Я не ленился слушать, мозг жадно впитывал знания. Все, что узнал там, засело во мне на всю жизнь – вот что удивительно! По математике и физике, к примеру, меня сильно натаскал профессор Конрад. «Юноша, – ободрял он меня, – все это пригодится вам на свободе, вам надо обязательно поступать в вуз». Сам он свободно владел двенадцатью языками. Вот какие люди терпели унижения от тупиц надзирателей, вот какие люди были отданы на съедение тюремным вшам!

Вернулся во Владивосток и тут-то узнал, что Маша моя вышла замуж и уехала. А сам Кудайберген подался на родину. Сказал: душа тоскует по родному аулу, нет больше сил терпеть, старые кости его должны быть погребены в родной земле.

Я тронулся на Зайсан, к матери. Двадцать дней собирался! На Зайсане добрые люди разъяснили: да, есть у них русская женщина у чабана Даулеткерей. Я спросил дорогу на джайляу, мне указали. Не стал ждать попутную подводу, отправился пешком. Шел два дня. Шел и ликовал. Вокруг меня была огромная степь – зеленая, звенящая! Вокруг меня была свобода! Счастью моему не было конца, как и этой степи! А небо Алтая! С небом Алтая ничего не может сравниться! А горы Алтайские!

Взобравшись на очередной зеленый холм, я повалился в траву, я лег на спину, я вольно раскинул руки. В вышине кружил надо мной белокрылый алтайский беркут. Глядя в небо, я задумался: «Семен, а ведь тебе в этом году стукнет тридцать восемь лет. Где твоя жизнь, на что она потрачена? Чего ты добился?»

В двадцать четвертом ты родился.

В тридцать седьмом твоего отца признали врагом народа, он был расстрелян. А узнаешь ты об этом только в семидесятые годы.

Тридцать восьмой. Поздней ночью, когда мать сидела, склонившись над учебными тетрадами, вошли люди и увели ее. Жена врага народа и сама, следовательно, враг народа. На двадцать лет попала она на Карагандинские рудники! Тебя отдали в интернат – здесь воспитывалось много детей, родители которых были объявлены врагами народа.

В сороковом году, в Пензе начал зарабатывать свой хлеб.

Сорок первый. Доброволец. Но на фронт попал не сразу. Восемь месяцев учебы в школе десантников под Москвой.

Сорок шестой. Вернулся с войны. Объездил всю Россию в поисках матери. Не нашел. Уехал на Дальний Восток, жил там до пятьдесят второго. Чуть не спился. Встреча с Машей, женитьба, родилась дочь Надя.

Пятьдесят второй. Тебя забрали.

Сейчас шестьдесят второй. Ты освободился. В данную минуту ты лежишь на алтайской траве и смотришь в небо. Простая арифметика: на свободе был ты всего шесть лет. Все остальное – годы страданий, годы неприкаянности. Не слишком ли много, не слишком ли?...»

Отдохнув, я продолжал свой путь. Я все время двигался в заданном направлении. К вечеру, как мне объяснили, я должен был увидеть отару Даулеткерей. Так оно и случилось. Когда солнце уже садилось, увидел отару на одном из пригорков. Самого чабана и собак я пока не видел. Раздвинул кусты можжевельника – вижу дерево, под ним сидит маленькая старушка. Приблизился к ней и сразу

узнал мать – как она изменилась! А ведь в моем воображении она была совсем другой – такой, какая я видел ее в последний раз, еще мальчиком. Совсем молодой женщиной, с длинной девичьей косой...

Я смотрел и смотрел на крохотную старушку – жадно, будто в эти несколько минут собирался впитать ее новый образ весь до мелочей, до самых крохотных черточек. В эти-то минуты я и понял, кто хранил меня от смерти, – она! Она молила Бога оставить меня в живых. Это она в ту минуту, когда я был на волосок от смерти в карцере, вошла ко мне, смыла с моего лица кровь и дала напиться. Это она прошептала мне: «Не умирай, сынок, дай мне хоть раз увидеть тебя живым! Не сопротивляйся этим зверям. У них власть, им ничего не стоит убить тебя. Я сохранила тебя от фашистских пуль на фронте, а перед этими палачами я бессильна. Перетерпи еще раз унижение, разве тебе привыкать – но не сопротивляйся, дай мне увидеть тебя живым!»

Так говорила она мне тогда, а сейчас, рано состарившаяся от горя и разлуки, сидела прислонившись к стволу дерева и читала книгу. «Мама...» – еле выдавил я из себя. Книга выпала из ее рук. Ко мне бросилась собака, принялась обнюхивать меня, залаяла. Мать повернулась в мою сторону и поправила маленькие, круглые очки. «Мама!» – ноги мои подкосились, и я рухнул на колени. «Сынок!» – прошептала мать и бросилась ко мне.

Вот такую сцену застал Даулеткерей, выйдя из юрты, привлеченный собачьим лаем. Это был крепкий мужчина среднего роста, с длинной бородой. Все эти годы он заботился о моей матери – она стала ему родным человеком. Никогда мне не забыть эту его доброту!

Назавтра же он оповестил все ближние аулы, что у Надежды нашелся сын, и устроил самый настоящий той. Много собралось людей, все обнимали меня, но никто не спросил, где я был все это время.

Даулеткерей сидел в тени юрты на толстых одеялах, по всему чувствовалось, что он правит застольем. Очевидно, это он велел, чтоб меня не беспокоили лишними расспросами. Лицо матери раздурмянилось, я с тоской замечал в ее глазах тот холодный свет, который потом часто заставлял меня вздрагивать, свет, который остался с ней до конца ее жизни. Я погладил ее руку: «Теперь все будет хорошо, теперь мы всегда будем вместе...» – «Да-да, – ответила она, – дай нам Бог сил, и дай Бог мне умереть раньше тебя...» – «Что ты, мама! Мы будем жить долго – наша жизнь с тобой только начинается! Мы еще поедem в Пензу, в наш родной Никольск!» – «Хорошо, сынок, – вздыхала мать. – Хоть бы краешком глаза взглянуть на родные места».

У Даулеткерей было восемь детей: пятеро сыновей и три дочери. Трое из пятиерых не вернулись с войны. Двое дошли до Берлина. Старший из них, Бокай, умер в магаданских лагерях. А Токаю было бы сейчас сорок два. По старым казахским законам он женился на вдове своего старшего брата. Умный это был обычай – не оставлять вдову, не отдавать ее в чужой род. У Нуржамал было двое детей от Бокая, а от Токая она рожала десять раз! Я был поражен: она была красавица, лет ей было чуть за сорок – и двенадцать детей! Старшие только только начали ходить в школу, а младшенькие еще кормились грудью. Вот такой большущей семьей жил чабан Даулеткерей. В этой семье и мне нашлось место – тепло меня казахи приняли к себе. Сам Даулеткерей довольно-таки сильно горевал о своей бабушке – она умерла незадолго до этого.

Тем летом я изъездил вдоль и поперек этот край – вдруг стало казаться, что здесь-то я и родился, среди этой красивой природы, среди этих славных людей – казахов, которых сильно полюбил. Наверно, Даулеткерей, взяв меня с собой, во многом и преследовал эту цель. Хотя я бы не сказал, что он был мне понятен во всем. Однажды мы остановили коней, и он указал плеткой вдаль: «Там китайская граница. Много осталось в Китае моих братьев, моих родственников». Он слез с коня, встал на колени и стал читать молитву...

Все лето я провел с Даулеткереем, но расспросить его о сыне Бокае так и не решился. Об аресте отца рассказал мне Сайлау, внук Даулеткерейя, тот самый, что ныне работает директором совхоза, который совсем недалеко отсюда.

«В сорок девятом году ваша мать, дядя Семен, серьезно заболела и слегла. Девять лет лагерей подорвали ее здоровье. После рудников она приехала к нам сюда, на Алтай, вся истощенная. И если бы не дедушка, к которому ее направили помощницей, – верная была бы ей смерть. Так что ничего удивительного не было в том, что она заболела и слегла. Весной к нам на зимовку приехали два гэпэушника, или как их там, – эмгэбэшника... Тетя Надя сразу, как только освободилась, стала рассылать письма в разные инстанции – она разыскивала мужа и вас, дядя Семен. Видно, это очень не понравилось кой-кому. Они дико орала на нее, а потом стали просто издеваться над ней – выкручивать руки. Как назло, в это время никого не было дома, кроме нас – детей, взрослые были в кошаре. Тетя Надя жутко кричала от боли, плакала. Скоро вернулся отец: «Что вы делаете?! Она же больная – пощадите ее!» – «Пошел вон!» – ответили ему. Отец молча вышел. Сейчас я не помню, о чем они спрашивали тетю Надю, не помню, что она отвечала. Видимо, она отвечала не то, что было им нужно. Они ее, босую, раздетую, вывели на улицу. А было еще холодно, снег только-только начал таять. Они заставили ее бегать вокруг юрты, а сами курили. Мы смотрели в окно. С маленькой Балкен вдруг началась истерика. Вслед за нею заплакали мы все. Из кошары торопились к дому дедушка с бабушкой и дядя Токай. Они подбежали к гэпэушникам, и дедушка стал что-то говорить одному из них. Тот схватил его за бороду и пригнул к земле. Я рванулся к дедушке – выскочил, подбежал и обнял его. Задыхаясь, тетя Надя крикнула: «Не трогайте их, они ни в чем не виноваты! Ата! Идите домой, я прошу вас!» Тот, который держал за бороду деда, крикнул ей: «А ну беги, сука! Живей работай ногами!» Отец приблизился к ним: «За что вы издеваетесь над больной невинной женщиной?» – «Это она невинная? Да ты знаешь, что она враг народа! – заорал долговязый и рябой. – Беги быстрее, кому говорят! – И он выстрелил в воздух; потом повернулся к отцу: – А ты что защищаешь ее, стерву? Да мы тебя самого, дурака, внесем в список как врага, понял ты?» «Я – враг? – опешил отец. – Да ты знаешь, что мы с братом дошли до Берлина?! А где в это время ты был, шакал?» Тетя Надя упала и не поднималась. Моя мать подбежала к ней, но рябой пнул мать в грудь. Мать охнула и сама опустилась на землю – глаза ее были широко раскрыты, она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Разгневанный отец ударил рябого – тот упал. Отец подобрал его наган и ударил им второго по голове. Гэпэушники побежали к своим лошадям. Отец поскакал за ними. Дедушка кричал ему: «Остановись, сынок!» – но отец ничего не слышал. К утру эти двое вернулись, и, конечно, не одни. Отца забрали, больше мы его не видели. Даже не знаем, где он похоронен».

Вот такую историю мне поведал Сайлау.

Семен Архипович глотнул остывшего чая. «Трудно дается ему этот рассказ, ох как трудно», – подумал Кахарман.

И словно бы угадывая его мысли, Семен Архипович проговорил:

– Да, Кахарман, столько ужасов пережили люди в те годы! Да еще и непонятно: всю мы чашу испили или нет? Что нас ждет завтра? Не очень я верю в нынешних людей – они тоже мне напоминают зверье, только в те годы негодяй орудовал более откровенно, а нынче звериный оскал скрыт под маской благопристойности..

Болезнь у матери стала обостряться. Жена Даулеткерей не отходила от нее как от родной дочери. Потом мне мать рассказывала: ей было очень тяжело. Но мучилась она не столько от болезни, сколько от того, что из-за нее невинно пострадал другой человек, Бокай. Она рассказывала, что молила бога: Боже, верни Бокаю! Кто я? Лучше возьми мою душу, но верни Бокаю. У него старые родители, жена, дети. Я ни в чем не провинилась перед тобой, господи, так исполни эту мою просьбу, верни его! Нет, не вернул он Бокаю. Ясно, гэпэушники его самого объявили врагом народа, засадили в лагерь и сгноили его там. Так и прожила она с тяжелым камнем на шее – всю жизнь!

К тому времени на Зайсан переехала Марзия. Весь Зайсан полнился слухами о ее целительском мастерстве. Даулеткерей привез ее к нам – она-то и поставила мать на ноги. Первое, что она немедленно посоветовала ей при ее туберкулезе, – пить кумыс – кобылье молоко. Потом Марзия взяла с собой всех детей, что были в доме, и отправилась с ними в горы за нужными травами. В следующие дни она, прощупывая пульс, твердила матери: «Надя, слишком много у тебя на сердце тяжести. Освободи его – думай только о том, что тебе надо выздороветь, и тогда мои травы помогут тебе». Мелко истолченную траву – вернее, отвар – Марзия давала пить матери три раза в день. Через неделю ей стало лучше – болезнь стала отпускать ее. Марзия раскинула на бобах: «Хоть и не легко будет тебе, Надя, справиться с болезнью – но справишься, и жизнь у тебя будет еще долгая. Чудится мне голос молодого беркута – будет у тебя большая радость, но не скоро...» – «Дай-то бог, чтобы сбылись твои слова, – отвечала мать. – Орел – мой сыночек, значит, жив он?» – «Жив он, Наденька, жив. Под – ним голубая вода, перед ним – долгий путь, но путь этот ясен и ведет к тебе». – И Марзия стала собирать бобы. «А муж мой жив? Скажи, Марзия!» – «Не буду скрывать, – с печалью проговорила Марзия. – Нет его в живых...»

Мать стала поправляться: вскоре стала выходить на улицу, подолгу сидела на воздухе, на солнце. Сайлау и Балкен очень к ней привязались – сколько она перечитала им сказок и на русском, и на казахском языках! Трехлетняя Балкен уже в три года читала и писала по-русски! Она же научила их играть в шахматы. Один из сыновей Токая сейчас мастер спорта по шахматам, живет в Алма-Ате. А у Балкен – первый разряд, чемпион области среди женщин.

Вскоре пришла весть о смерти Бокаю. Токай поехал в Сибирь за телом брата. Тела, конечно, не получил – лагерное начальство даже разговаривать с ним не стало.

У матери повторился нервный шок, она снова легла. Как в бреду она повторяла себе: «Все несчастья в этом доме из-за меня. Он умер, а я жива. Я не имею права жить – я тоже должна умереть. Только тогда простит меня бог, простит Даулеткерей, простит Толкын-апа, простит Нуржамал, простит Токай, простят Сайлау и Балкен.

Простите меня, хорошие люди! Кто бы тронул вас в этом богом забытом, никому ни нужном ауле, ели бы не я?» Она и сама потом не могла в точности повторить эти свои бредовые, навязчивые мысли. Когда к аулу подъехала еще одна повозка, в который громко рыдали родственники, мать встала с постели, вышла из юрты и пошла куда глаза глядят. «Я должна умереть! – повторила она себе. – Я не имею права жить!» Она шла долго, к вечеру выбрела на какой-то шалаш, присмотрелась – это были сенокосные поля Даулеткерей. «Как я далеко ушла!» – испугалась она, но тут же подумала: ей теперь все равно, чем дальше – тем лучше. Вошла в шалаш, бросилась на сено и стала плакать. Незаметно для себя уснула. И вот какой приснился ей сон.

Приснилась ей душа Бокая – так это поняла мать, потому что самого Бокая она не видела, а слышала только его голос. «Надя, здравствуй, – сказал этот голос. – Как ты оказалась в этом шалаше далеко от дома – что еще за чудеса?» – «Мне надо умереть, Бокай, – ответила мать. – Я не имею права жить после того, как не стало тебя...» – «Я запрещаю тебе так думать! – ответил гневно Бокай. – Слышишь ты меня, сестра? Запрещаю! – И продолжал спокойнее: – Рассуди сама: теперь мне никто ничем не может помочь. А то, что придумала ты – просто смешно!» – «Что же мне делать, брат?! – вскричала мать. – Как же мне жить дальше?» – «Если хочешь мне помочь, если ты любишь меня, Надя, – прими близко к сердцу моих детей: Сайлау и Балкен. Вот такая у меня просьба – Сайлау и Балкен...»

Мать проснулась в испуге. Была уже ночь. Бредовые мысли не оставляли ее – словно невменяемая ходила она около шалаша и бормотала: «Только и всего?! Легко же ты хочешь отделаться от своего греха! Знай, Надя, нет тебе пощады! Умри! Умри! Умри!» Стало светать. Приметила в траве какую-то веревку, прижала к груди. Ее осенило: «Это знак. Знак мне». Спустилась к ручью, который протекал недалеко. У ручья росло большое дерево – она привязала веревку к толстому суку. Потом умылась в ручье – теперь она была чистая не только душой, но и телом для того, чтобы отправиться в другой мир. Она встала на опрокинутое ведро, которое предварительно принесла из шалаша, сунула голову в петлю и шагнула в воздух. Веревка, всю зиму пролежавшая под снегом, лопнула, не выдержав тяжести. Даулеткерей искал ее всю ночь по степи. Потом сообразил про шалаш и утром был там. Он нашел плачущую мать у ручья, привез домой.

– Вот так она осталась жить, – грустно улыбнулся Семен Архипович. – С разрешения Бокая, можно сказать...

Через два года я уже свободно говорил по-казахски, благодаря Токаю. Не только говорил, но и пел казахские песни. Голоса у меня особого не было, потому я любил петь на просторе, в одиночестве, для себя.

Даулеткерей научил меня кузнечному делу, которым сам владел очень хорошо. Когда приходил черед пасти отару Токаю, я оставался дома, помогал по хозяйству Даулеткерей. У него была небольшая кузница на окраине аула, где мы проводили много времени. Отец Даулеткерей был известным в этих краях зергером – мастером по золоту и серебру. Как-то, разглядывая подарок Кудайбергена, Даулеткерей сказал: это не наш орнамент, не найманов – этоковка мастеров из племени тобыкты. «Тонкая работа, – одобрительно качал головой Даулеткерей. – К знаменитому Кунанбаю стекались в аул видные мастера – кто-то из них и сработал этот великолепный пояс». А когда я подарил ему этот пояс, он растрогался, повесил его над своим изголовьем, наказав: «Когда умру – забереши его обратно». Я не стал забирать, оставил его Токаю.

Как ни хорошо мне жилось у Даулеткереев, а все равно стало тянуть в город, к людям, к шумной жизни. Я стал предлагать матери переехать в город – я бы пошел работать на завод, ничего, вдвоем бы прокормились. Мать к тому времени уже реабилитировали, но уезжать от Даулеткереев ей не хотелось – очень она привязалась к старику. К тому же ей постоянно надо было пить кумыс для поддержания здоровья – а откуда в России кумыс?

Но как сильно она пустила корни в казахскую землю, я узнал позднее – после того как мы побывали в Пензе, то есть в родных местах. Деревенька наша зачахла совсем – всего три старушки осталось в ней. Больно стало у меня на сердце за нашу Россию – показалась она мне похожей на этих трех дряхлых старушек: забыта, заброшена... Еще тяжелее было все это видеть матери – по дороге она то и дело всплакивала, тяжело вздыхала. Поехали в Никольск. Хоть и мал городок, а ведь был когда-то знаменит на всю Россию – славился своим стекольным заводом. Могилы ее родителей, конечно, не нашли – столько лет прошло! Пошли в местный музей. В музее мать заметно повеселела – подолгу стояла у каждого экспоната у стекла. Она знала историю каждой вещи здесь, и меня это не удивило, ведь ее отец был на этом заводе мастером не последней руки. Мы подошли к любопытному изделию – вещь эта называлась «Стакан с мухой». Мать стала рассказывать: «Престарелый князь Бахметьев – владелец этого завода – очень огорчился, что его единственный сын крепко пил. Князь боялся, что после его смерти дело развалится, что пропьет его вчистую. Собрал он своих мастеров и поделился с ними своей озабоченностью. Конечно, всерьез никто не взялся советовать чего-либо князю, но один из мастеров предложил отлить стакан с изображением мухи. Забавность этой вещи заключалась в том, что если наполнить его жидкостью – муха начинает шевелить лапами как живая. Молодой князь пить, естественно, не бросил. И Бахметьев подарил свой завод племяннику Оболенскому...

А вот два совершенно одинаковых кубка – у них тоже интересная история. Бахметьев привез один из таких кубков из Парижа и стал укорять своих мастеров – вот, мол, какие вещи делают в заграничах, а вы что же? Тогда один из старых стеклодувов попросил этот кубок у Бахметьева на три дня. А через три дня перед князем стояли два совершенно одинаковых кубка. Как ни вглядывался князь, а понять не мог, где заграничный, а где наш – отечественный. Дали на химический анализ, но так и не смогли выяснить, какой французского мастера, какой – русского. С тех пор эти кубки всегда вместе».

Вот что рассказала она мне в музее, преображаясь на моих глазах – лицо ее было счастливым, даже морщины на какое-то время разгладились. Вот ведь как возрождается, как воспаряет душа человека, когда он говорит о прошлом прекрасном времени!

Но недолго я радовался этому. Вышли из музея, и нас обступила теперешняя жизнь – тревожная. Расхлябанная, похожая во многом на пир во время чумы. И не в переносном смысле слова – практически в прямом. Весь Никольск кишел пьяным народом – а ведь был будний день. Пьяные были у магазинов, на улицах, в каких-то канавах – мне даже показалось, что сам этот городишко совершенно пьян: какой-то весь серый, неказистый, вкривь и вкось разбегающийся домишками по косогорам. А вокзал! Да он просто набит был какой-то наглой, бесшабашной пьянью – жутко было смотреть! Мы с матерью ждали автобуса на Пензу. Пьяные эти мужички шастали туда-сюда – у них за пазухами были хрустальные вазы,

салатницы и даже люстры, небольших, конечно, размеров! И вазы, и салатницы, и люстры отдавались за бутылку водки! Было много кавказцев – они скупали все это и торопились к своим машинам, потом возвращались и снова бежали с полными руками к багажникам. Один из мужиков подошел к матери: «Мать, всего за пятерку! Возьми, не пожалеешь!» – «Мне стыдно покупать чужую честь, да еще так дешево», – холодно сказала мать и отвернулась. Она расстроилась совершенно. Мужичок стал оправдываться: «Это же не ширпотреб – это моя ручная работа! А свою работу продаю, за что хочу. – И он стал совать вазу мне. – Не хочу отдавать этим печеным. Хочу, чтоб по-душевному было – только русскому человеку! Они весь Кавказ завалили нашим хрусталем! У нас – за пятерку, там – за пятьсот. Покупают нас, можно сказать, с потрохами. – Он сильно шатнулся. – А я выпить хочу, слышь, браток. Бери, не пожалеешь».

В самом деле, она отличалась чем-то необычным, эта ваза, – легкими, четкими линиями, каким-то странным орнаментом, мгновенно создававшим настроение. Я протянул мужичку десятку, положил вазу в сумку. «Подожди меня здесь», – сказал мужичок и исчез. Вернулся он быстро, с продолговатой коробкой в руках. В коробке была хрустальная женская фигурка. И снова меня удивила знакомая рука мастера – снова мгновенно во мне родилось знакомое настроение: неопределимое в деталях, но совершенно четко мною осознаваемое, пусть на короткие минуты, но обогащающее душу. Мужичок понял, что и фигурка мне понравилась. «Давай еще пятерку и бери». Я протянул ему пятерку и трешку. Лишняя трешка его удивила, он почти что бросил ее мне в лицо, резко сказав: «Я мастер своего дела, а не попрошайка!»

В общем, мать вернулась из поездки по родным местам сильно угнетенная. «Нет уже России! – повторяла она. – Куда она катится, боже!» Это говорила она до конца своих дней. А со мной у нее вышел такой разговор: «Поезжай один, Семужка. Я останусь с Даулеткереем. И старику трудно без меня, и мне без него худо. Зря ты возил меня в Никольск, в Пензу – теперь я окончательно поняла, что боюсь России, хотя и жалею ее. А ты молодой, поезжай, может, там и женишься – не буду мешать тебе жить».

Приехал я в Усть-Каменогорск и в аэропорту задумался: а куда бы мне поехать? Решил – махну на Урал, подальше от родных мест, на которые уже насмотрелся. Выбрал Свердловск – самый большой город на Урале. Пошел работать на завод, кончил техникум и в самом деле женился. Хорошая мне попалась женщина – веселая, энергичная. Тоня, Антонина – так ее звали. Правда, была она разведенная, но дочерей ее полюбил как родных. Сейчас они обе замужем, одна живет в Алма-Ате, другая уехала в Караганду.

Чудно устроен человек, Кахарман, жить бы и жить мне в Свердловске – хорошо ведь все пошло! Нет – потянуло в Зайсан. Стал беспокоиться за мать – будто бы бросил я ее. Тоня уловила мой душевный разлад, я поведал ей о своих переживаниях. Решено было, что я беру отпуск и еду к матери. Я стал расхваливать Тоне Алтай, предложил: поехали вместе, чего я один? А она мне сказала вот что: «С тобой, Семен, – хоть на край света. Можем и навсегда – почему бы нет? Сейчас Люда кончает школу. Поступит в техникум, оставим ей квартиру и уедем». – «Ты серьезно?» – спросил я, пораженный: никогда бы не мог подумать, что меня могут так сильно любить. «Вполне! – ответила она, засмеялась и крепко поцеловала меня. – Ну что я буду делать без тебя в этой жизни, подумай сам».

Поехал я на Зайсан. Приехав, узнал, что мать теперь живет в Усть Каменогорске: получила там квартиру. Даулеткерей сильно сдал, все больше лежал, но к столу, который собрали в честь меня, сел. Дети подросли. Сайлау и Балкен, естественно, тоже жили в Усть-Каменогорске, с моей матерью – и тот, и другая поступили в институты. «Кто же дал ей квартиру? – удивился я. – Что за чудеса?» – «Случаются иногда», – загадочно улыбнулся Даулеткерей и поведал мне вот что.

Прошлой зимой как-то заехал к ним Первый секретарь обкома Протазанов. Увидел мою мать и поинтересовался, как она попала сюда. Мать поведала ему историю своей жизни. «Отец мой был мастером-стеклодувом, – рассказывала она про своих родителей. – В городке Никольские был когда-то известный на всю Россию стекольный завод...» – «Почему же был? – удивился Протазанов. – Он существует и сейчас». – «В самом деле, всего лишь существует, – ответила мать. – Не так давно возил меня в Никольск сын. Измельчало там все: люди, нравы. Нет там, кстати говоря, и коммунистов старой закалки...» – «А чем старые коммунисты отличались от теперешних?» – спросил Протазанов, и видно, не без задней мысли: наверно, он приглядывался к ней, взвешивал ее. «Они были чистыми. К ним грязь не приставала. Потому-то они и были расстреляны, загублены в лагерях. Чего далеко ходить: мой муж был председателем колхоза. Его расстреляли в тридцать седьмом. Вся моя жизнь прошла под зловещим знаком: жена врага народа»

В общем, многое из ее жизни узнал Протазанов, был покорен тем неженским мужеством, с которым она долго несла крест своей жизни. Но больше всего он поразился ее уму, образованности. «Мне в жизни, – ответила мать, – ничего другого не оставалось, как читать книги. – Она невесело усмехнулась. – Запрещалось все в жизни, но читать почему-то – нет».

Уезжая, Протазанов спросил, не будет ли у нее какой-нибудь просьбы к нему. «Я чувствую, Надежда Павловна, перед вами вину – мне очень хочется сделать вам что-нибудь хорошее: вы многое заслужили».

Мать ответила: «Чего мне надо? Я уже стара и больна, жизнь моя идет к концу. Я давно живу в семье Даулеткерей – ему я стала дочерью, Токаю – сестрой, а его детям – бабушкой. Всем этим людям я обязана своей жизнью. Даулеткерей сызмальства пас скот – сначала байский, потом колхозный. Дети его погибли на войне, Бокай – в лагерях. Его дело стал продолжать Токай. В годы войны он был награжден орденом Красной Звезды, но за тридцать лет своей честной чабанской жизни не отмечен даже грамотой. Вот достойные люди! Вот люди, которых надо замечать!»

Протазанов выразительно посмотрел на директора совхоза и секретаря райкома: «Товарищи, как же это так получается?» Мать моя тоже с укором посмотрела на них: «Давайте будем понимать вещи глубже. Если не замечать достойных людей, не поощрять их – скажите, какими вырастут наши дети? Если не замечать чабанский труд – этот труд может просто-напросто выродиться. Давайте будем относиться к каждому человеку так, как он того заслуживает». Протазанов задумчиво проговорил; «Сложны проблемы сегодняшнего дня, это, безусловно, а думать о завтрашнем – еще сложнее... Я недавно назначен к вам в область. Думаю, что сейчас наведем порядок в промышленности, затем возьмемся за сельское хозяйство...»

Почему Токай не представлен к награде?» – обратился он к секретарю райкома. За него ответил директор: «У Токая трехклассное образование. Мы выдвигали его на орден, но райком завернул наши бумаги, объяснив, что малообразованные люди

не могут представляться к высокой награде». Протазанов зло усмехнулся: «Ох, и умные же люди работают у нас в райкоме! Значит, пасти овец – образования не нужно, а получать награду – подавай образование? – Он снова сердито посмотрел на секретаря: – У вас в райкоме, как я знаю, немало орденосцев может, они в таком случае переqualифицируются в чабаны? – Он снова обратился к директору. – На твоём месте другой давно бы предложил Токаю закончить десятилетку...» – «Подходил к нему не раз, – стал оправдываться директор. – Предлагал, уговаривал – ни в какую!» – «Долго ж ему в таком случае придется ждать награды!» – усмехнулся снова Протазанов. Секретарь и директор совхоза переминались с ноги на ногу, не зная, что ответить.

Прощаясь, Протазанов еще раз обратился к моей матери: «И все-таки, Надежда Павловна, вижу – какая-то забота лежит у вас на сердце. Откройте ее мне – как знать, может, удастся чем-нибудь помочь?» – «Боюсь обременить вас...» – смущенно проговорила мать. «Какие пустяки! Какой же я коммунист, если не буду вникать в людские заботы?» И мать тогда решилась изложить Протазанову свою просьбу. «Я бы хотела отблагодарить этих людей – дать их детям хорошее образование. А как это сделать, не переехав в город – хотя бы в Усть-Каменогорск? Поймите, если уж я решилась обременить вас, то делаю это не ради себя, а ради детей этих чудесных людей, которым обязана жизнью». – «Понял вас, Надежда Павловна! – улыбнулся Протазанов. – Прямо сейчас напишите заявление, я увезу его с собой и очень скоро дам вам знать».

Он сдержал свое слово: матери предоставили в Усть-Каменогорске трехкомнатную квартиру, и она вместе с Балкен и Сайлау переехала туда.

Я двинулся в райцентр, чтобы немедленно ехать в Усть-Каменогорск повидать мать. Даулеткерей дал мне иноходца – вот уж что порадовало меня: отвел душу! Мчался по степному простору и ликовал: здесь мне надо жить, только здесь! Какого рожна я полез в город, в этот тесный муравейник?!

Далеко смотрела мать – не стала тогда меня неволить; решила, что рано или поздно выберу сам между городом и степями. Вскоре показалось озеро. «Зайсан!» – вздрогнуло мое сердце. И рассудил я таким образом: если тянет меня большая вода, не остаться ли мне на Зайсане? Не рыбаком, так мотористом. Построю здесь дом, возьму к себе детей Токая, воспитаю, дам им образование – а почему бы нет? Приехал к матери, стал советоваться с ней. Очень сильно мое решение взволновало мать – она была просто счастлива. Решено! Следующей весной переехал. Стал строить большой дом, о котором мечтал. С первого дня и Даулеткерей, и дети Токая взялись мне помогать. Поставили его в три месяца! Приехали жена, дочери. Созвали той. Даулеткерей по-отечески поцеловал меня в лоб: «Золотые руки оказались у тебя, Семен! Дом твой – один из лучших в Зайсане! Пусть будет в этом доме много радости, много детей – да поможет Аллах. Аминь!»

Антонине тоже нравилось здесь – чистый алтайский воздух, первозданная природа – кто бы отказался от этого? Только с одним она не могла свыкнуться в первое время: с тем, что я говорю на казахском языке. «Да не казах ли ты, Сема?» – недоверчиво спрашивала она. Я отшучивался: «Как тебе больше нравится». Ее тоже хорошо приняли в семье Даулеткерей; понравилась она и моей матери. На Зайсане в те годы русских было много – Антонина не скучала, впрочем, дружила она охотно и с казашками. Потом начались волнения на китайской границе... Я смотрю сейчас и думаю: раньше казахов называли кочевниками, а теперь кочевниками

можно назвать нас – русских. Никакой другой народ не бросает так легко отчие могилы, как делаем это мы – русские! И в то же время мы любим одергивать те народы, которые верны своим традициям – национализм, кричим мы!

– А где же теперь ваша Антонина, Семен Архипович? – тихо спросил Кахарман.

– Брат Кахарман... Чуть ли не в одночасье я похоронил своих близких: Даулеткерея, мать и Антонину. Случилось это в последние три года. Все они умерли от рака... А ты что-то совсем не пьешь. Выпей за упокой души – хорошие они были люди, тяжело мне без них... Да и ужин, наверно, готов – Балкен зажалась.

Они вышли из дому – чувствовалось, что мороз крепчает: дул сильный холодный ветер.

– Не спеши устраиваться на работу. Давай-ка завтра отправимся к Токаю, на зимовку. Тебе нужно побыть одному. Тебе нужны, как говорится, положительные эмоции. У него есть хорошая для нас работа: будем чистить кошары. Да и Токай будет рад...

– Ни разу мне не приходилось резать кизяк. Я готов!

Но назавтра ветер усилился – отправляться к Токаю было небезопасно, и они решили пока отложить поездку. Теперь у Кахармана было достаточно времени еще раз обдумать свое нынешнее положение. Его земляки на Зайсане, конечно же, не могли согласиться с тем, что Кахарман намерен пойти в простые рыбаки. Кахарман понимал: они хотели бы его видеть одним из местных руководителей, тогда бы они чувствовали его заботу, его участие – им было бы легче. Но вряд ли они знали, как Кахарман устал от жизни, устал быть так называемым руководителем. Неудивительно: мало ли он потерпел поражений? Теперь у него не было веры в справедливость. Стоило ли ему биться, если не было вокруг правды?

В один из метельных дней к Семену Архиповичу зашла Марзия. Семен Архипович слесарничал, Кахарман лежал с книгой. Марзия села.

– Кахарман жан, я пришла к тебе по делу. Люди хотят видеть тебя в числе руководителей. Не очень-то ты слушай их! Я их понимаю, но понимаю и тебя: тебя сильно, очень сильно потрепала жизнь, и быть руководителем тебе сейчас – соль на раны. Ты хочешь очистить свою сомневающуюся душу? Делай, как подсказывает тебе сердце. А оно у тебя устало, оно нуждается в отдыхе...

Кахарман в порыве чувств обнял Марзию:

– Как вы угадали все мои мысли, Марзия-апа! Спасибо вам, апатай! – На сердце у Кахармана полегчало.

– Я пришла пригласить вас с Семеном ко мне на ужин. Там и поговорим об остальном.

– Редкой чуткости человек наша Марзия, – задумчиво заметил Семен после ее ухода. – «Напылили кругом, накопытили, и пропали под дьявольский свист», – как писал Сергей Есенин.

– За базар не отвечают, – подтвердил Кахарман.

Окончание следует.

